

концептосфера
коммуникатор и коммуникант
структурный
литературное произведение
стиль
актуализация
лексические трансформации
концептосфера
картина мира
иностранность
стиль
коммуникатор и коммуникант
структурный
литературное произведение
стиль
актуализация
лексические трансформации
концептосфера
картина мира
иностранность
стиль
коммуникатор и коммуникант
структурный
литературное произведение
стиль
актуализация
лексические трансформации
концептосфера
картина мира
иностранность
стиль

ROSSICA OLOMUCENSIA – Vol. LVIII
Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num. 2
Olomouc 2019

Hlavní redaktor – Editor-in-Chief – Главный редактор: prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

Výkonný redaktor – Editor – Редактор-исполнитель:
Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D., doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Redakční rada – Editorial Board – Редакционный совет:
Univ.-Prof. Mag. Dr. phil. Peter Deutschmann (Salzburg)
Prof. Mikhail Epstein (Emory University, USA)
проф. Алексей Алексеевич Гиппиус, д.ф.н. (Москва)
emer. prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc. (Olomouc)
emer. prof. dr. Ulrike Jekutsch (Greifswald)
проф. Валерий Михайлович Мокиенко, д.ф.н. (Санкт-Петербург)
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (Olomouc)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Brno)
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (Nitra)
prof. PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc. (Ústí nad Labem)
проф. Алла Владимировна Злочевская, д.ф.н. (Москва)

Adresa redakce – Contact Address – Адрес редакции:
Rossica Olomucensia, Katedra slavistiky, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, CZ-771 80 Olomouc
jindriska.kapitanova@upol.cz, jitka.komendova@upol.cz

Rossica Olomucensia – Časopis pro ruskou a slovanskou filologii navazuje na ročenku *Rossica Olomucensia* vydávanou v letech 1968-2007. Od r. 2008 jsou pod hlavičkou *Rossica Olomucensia* vydávány dvě řady: 1) **Časopis pro ruskou a slovanskou filologii** (dvakrát ročně) s uvedením ročníku a čísla (např. Vol. XLVII a Num. 1, 2) a 2) **Sborník příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké dny rusistů** s uvedením ročníku. Obě řady jsou rozlišeny podtitulem. V r. 2009 byla *Rossica Olomucensia – Časopis pro ruskou a slovanskou filologii* zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Elektronická verze časopisu je umístěna na stránce: http://www.rusistika.upol.cz/veda_a_vyzkum/rossica_olomucensia.html

Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47
www.upol.cz/vup

Odpovědný redaktor: Bc. Otakar Loutocký
Technická redakce: doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Návrh obálky: Ivana Perůtková
Vychází dvakrát ročně (červen a prosinec)
Náklad: 45 výtisků

ISSN 0139-9268 (print)

ISSN 1804-1434 (online)

Reg. č. MK ČR E 18418

ROSSICA OLOMUCENSIA

2

Num.

Vol. LVIII

Olomouc 2019

ČASOPIS PRO RUSKOU A SLOVANSKOU FILOLOGII

Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře, udělené roku 2019 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Institucionálního rozvojového plánu, Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Adresa, na níž je možno časopis objednat:

Prodejna VUP

Biskupské náměstí 1

771 11 Olomouc

e-mail: prodejna.vup@upol.cz

e-shop: <http://www.e-vup.upol.cz/>

ROSSICA OLOMUCENSIA – Vol. LVIII
Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num. 2
Olomouc 2019

STUDIE – ARTICLES – СТАТЬИ

ТАТЬЯНА АРХАНГЕЛЬСКАЯ: Имя собственное в польской фразеологии и паремологии: соотношение мужского и женского.....	5
НИНА ВЛАДИМИРОВНА БАРКОВСКА: Жизнетворчество в книге Виталия Кальпиди «Философия поэзии»	23
ЛУКАШ ПЛЕСНИК: Формально-структурная характеристика аналитических прилагательных (русско-чешский сопоставительный аспект)	35
ИВО ПОСПИШИЛ: Жанр литературоведческого портрета у Леонида Фризмана (тема памяти и ее аксиологическое значение).....	47
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА РУДАКОВА: Образ женщины в лирике Е. А. Боратынского.....	61

RECENZE – REVIEWS – РЕЦЕНЗИИ

Ondřej Bláha: Jazyky střední Evropy (Zdeňka Vychodilová)	77
Лариса Кислюк: Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси і тенденції розвитку (Алла Архангельська)	82
Ева Кудрявцева Маленова, Мария Ненарокова, Паулина Вуйциковска-Вантух, Джулия Де Флорио: Сказка – вопросы перевода и восприятия (Martina Pálušová)	89
Інна Царалунга: Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові XIV–XV століття (Uljana Cholodová)	92

ТАТЬЯНА АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Чехия, Оломоуц

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ПОЛЬСКОЙ ФРАЗЕОЛО- ГИИ И ПАРЕМИОЛОГИИ: СООТНОШЕНИЕ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО

АБСТРАКТ:

Proper names in Polish phraseology and proverbiology: the relation of feminine and masculine

The paper deals with proper names in Polish phraseology and proverbiology. Proper names are analysed based on their connotative meaning as well as physical, intellectual, social, temperamental and other characteristics of the person denoted by the specific proper name. The study is conducted on the basis of phraseological and proverbiological evidence, taking into account the gender aspects of the analysed issue.

KEY WORDS:

Proper name – phraseology – proverbiology – connotative meaning – pejoration – feminine and masculine characteristics.

Изучение семантической, прагматической и культурной составляющей имени собственного имеет давнюю традицию [Суперанская 2007; Отин 1980; Рут 2011; Grodziński 1973, 1986]. Среди всего ономастикона антропонимы занимают особое место: они выступают частью национальной культуры и этноментальности, отражая быт, мировидение и миропонимание конкретного лингвокультурного сообщества. Представленная в разных типах и вариантах культур рефлексия над именами собственными позволяет выявить ключевые моменты динамики «культы разума слова» [Шпет 1989: 380], ведь они в истории и культуре обладают своеобразной «властью ключей», без которых нет пути ни к «бытию»,

ни к «лицу» [Топоров 2004: 378]. Неотделимой частью мировоззренческих констант народа, отраженных в языке, являются представления о мужском и женском. Лингвистическая гендерология, изучая образы мужчины и женщины в языке, культуре и коммуникации, все чаще обращается к системе мужских и женских наименований, в значительной мере пребывающих под влиянием социокультурной составляющей пола. Вполне естественно, что в центре внимания многих современных работ оказывается вопрос о том, как сформировались представления о мужском и женском и как это отразилось в системе личных имен, ставших впоследствии компонентами фразем и паремий. В каждой культуре существует система устоявшихся в ней традиционных представлений о том, что такое мужское (маскулинное) и что такое женское (фемининное). Эта система представляет собой своеобразный симбиоз интеркультурного и национально-культурного. Маскулинность – комплекс характерологических особенностей (внешних, психологических, особенностей поведения, традиционно приписываемых мужчинам). Фемининность – такой же комплекс особенностей, приписываемых женщинам. Эти комплексы, как известно, не совпадают.

Представления о мужчине и женщине, закрепленные в культуре народа, пребывают под влиянием патриархальных констант общественного мышления и его следствия – андроцентризма. Под андроцентризмом понимают глубинную социокультурную традицию, которая проявляет себя в социуме, культуре и языке. В языке андроцентризм проявляется в неравномерной репрезентации представителей мужского и женского пола, связанной с объективным доминированием мужского в культурах постпатриархального типа. Своеобразная эволюция видения мужского и женского у древних славян-язычников привела к возникновению бинарных мировоззренческих оппозиций, с помощью которых наши предки познавали мир: это *верх – низ, свой – чужой, правый – левый, прямой – кривой, полный – пустой* и др., где правый член (положительно оцениваемый) связан с мужским, левый (оцениваемый отрицательно) связан с женским, а через них – к осмыслению мира, свойственного славянской культуре: **мужское** – *верх – активное – рациональное – духовное – небесное – божественное – культура*; **женское** – *низ – пассивное – чувственное – телесное – земное – природа*. Христианская традиция дополнила этот ряд противопоставлений греховностью как женским атрибутом.

Исследуя архаичные общества с точки зрения проблемы пола, ученые утверждают на первый взгляд парадоксальную мысль: на древнейших этапах развития человечества мужчины и женщины не осознавали

своей половой разницы и не связывали ее с продолжением рода. Это неосознание отражалось и в языке. Самые древние сексуальные наименования были асексуальными. К такому выводу пришли ученые, изучая стадиальные языки. В языке банту или в языке инков кечуа сексуальный критерий (различение по полу) отсутствует вообще. Первичные наименования живых существ создавались без учета различий по полу, что подтверждает целый ряд наименований терминов родства и животных, которые обозначали предмет без указания на его пол. В древнейшей латыни *puer* 'сын' и 'дочь', *parents* 'отец' и 'мать', в турецком (османском) *kardeş* 'брат' и 'сестра', в голландском *ouder* 'отец' и 'мать'. Некоторые термины родства, например, *отец – мать, дед – баба*, по убеждению М. Я. Немировского и А. Н. Трубачева, использовались в древнейшие времена для обозначения старшего поколения без учета реальных половых различий. И только позже стали появляться пары типа *gallus* 'петух' – *gallina* 'курица'. Феминативы на *-a* начали образовываться от маскулинизмов на *-us* [Немировский 1938: 196–226; Трубачев 1959]. В своем дальнейшем развитии в системе собственных наименований лица потребность различения лица мужского и женского пола приобрела характер закономерности.

Имя собственное как компонент фразем и паремий по своему происхождению – апеллятив, имя нарицательное, специализировавшееся в статусе онима для индивидуализации, выделения конкретного человека из ряда других. На заре формирования системы древнейших славянских языческих имен (и пожелательных, и охранных) ученые констатируют уже упомянутый нами факт неразличения по полу нареченного именем [Гамклеридзе, Иванов 1984: 208; Svoboda 1964; Pleskalová 1998]. Древний человек брал названия для наречения ребенка из внешнего для него мира природных объектов, которые на древнейших этапах развития человечества в системе представлений о мире пола не имели. У славян-язычников имя выполняло магическую функцию, основывающуюся на отождествлении имени и его носителя (имя – то, что находится внутри человека; имя способно определять его дальнейшую судьбу; оно сопровождает человека как тень). И только позже, когда за какими-то предметами, явлениями природы в сознании говорящих закреплялись определенные мужские и женские характеристики, когда наши предки привыкали приписывать пол объектам живой и неживой природы, их имена (названия) начинали ассоциироваться с мужским или женским: названия женских растений, женских дней недели переносились на имена девочек (*Środa, Sobota, Kalina, Koprzywa*), названия, связанные с силой, активностью, агрессией – на имена мальчиков (*Byczek, Wilczęta*).

Так и названия оружия (первично – хозяйственного инвентаря) стали ассоциироваться главным образом с атрибутами мужчины: *Łopata, Kusza*. В наше время в языковом сознании славян, и поляков в частности, флексия -а стойко ассоциируется с женским грамматическим родом и женским полом (*Iwan – Maria, Piotr – Galina*). Со временем (на уровне общеславянских композитных имен, на уровне имен, привнесенных христианской традицией) такое различие приобретает регулярность, хотя и здесь имеем отчетливые следы андроцентризма языка: многие женские имена являются производными от мужских (*Bogdan – Bogdana, Mieczysław – Mieczysława, Kazimierz – Kazimiera*).

В дальнейшем имя собственное становится важнейшим компонентом в системе координат социокультурного пола, ведь имя человека выполняло функцию социального знака, идентификатора личности в социуме. Веками в культурном и социальном пространстве народа складывались стереотипные представления об образе мужчины и женщины, которые до сих пор распространяются на всех представителей того или иного пола независимо от их индивидуальных особенностей и возраста. Эти стереотипы касаются как личностных черт мужчин и женщин, так и особенностей их поведения и места в обществе. Понимая под гендером социокультурный пол, ученые вводят понятия *гендерных стереотипов*, которые представляют собой культурно и социально обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов и их отражение в языке [Кирилина 1999: 95] и *гендерной оценки* как разновидности социальной оценки субъективной или объективной окружающей действительности, основанием которой выступает базовый признак «мужское» и «женское» [Бессонова 2002: 17]. И хотя социокультурная оппозиция «мужское» – «женское» не является основоположным принципом семантики и человеческого познания, она не всегда применима для объяснения и интерпретации всей сложности и многогранности системы языка, но остается одной из базовых мировоззренческих дихотомий, с помощью которых древние славяне познавали мир и идентифицировали себя в нем.

В системе стереотипных представлений о маскулинности и фемининности мужчинам обычно приписывают качества, которые ассоциируются с силой, активностью, доминированием, женщинам – с подчинением, слабостью и пассивностью. Изучая образ женщины во фразеологических и паремиологических системах разных языков, многие исследователи утверждают, что в них женщина предстает как болтливое, сварливое, чрезмерно любопытное, самовлюбленное, капризное, неуступчивое, алогичное, глупое и т.п. создание и что негативный образ женщины создается

на фоне образа мужчины как существа положительного, доминантного в андроцентричной системе координат мышления, познания и языка как социального конструкта [см. например Черкесова 2017; Сереброва 2007 и др.].

В данном исследовании мы поставили цель определить, с какими стереотипными характеристиками мужчины и женщины семантически связываются фраземы и паремии польского языка с компонентом-именем собственным и в какой мере имя собственное влияет на общую семантику устойчивого оборота. В центре нашего внимания – мужские и женские имена традиционного польского антропонимикона, включая их национальные общеупотребительные формы, а также псевдоантропонимы, дублирующие формы мужских и женских имен. Материалом исследования стали фразеологизмы и паремии с гендерно-оценочной семантикой, зафиксированные в толковых, фразеологических и паремиологических словарях с такими именами в роли компонентов. Следует отметить, что имя собственное как компонент польских фразеологизмов и паремий пребывает в центре внимания многих исследований, однако соотношение мужского и женского в них рассматривается лишь фрагментарно [Кравчук 2003; Заваринська 2009; Шутковски 2005; Мороз 2016].

Вопрос о функционировании имени собственного в составе фразем и паремий неразрывно связан с проблемой определения их семантики [Кравчук 2000б: 258–261, 2003: 185–191; Рут 2011]. Здесь имеем очень широкий и разнообразный спектр точек зрения на проблему: от сомнений в правомерности выделения семантики как особого аспекта имени собственного и взгляда на имя собственное как беспонятийный, бес­сигнификативный знак [Галкина-Федорук 1956: 53; Zabrocki 1973: 300; Dejna 1956: 109; Łaginowicz 1981: 55] до утверждения о наличии у имени собственного *идеосемантики* (основного, этимологического, константного семантического компонента и дополнительного, культурно идентифицируемого, семантически изменчивого в пространстве и времени [Запольская 2007; Абаев 1934: 133], *ономастического значения* [Алефиренко 1999]. М. Е. Рут считает, что имя собственное, не имея реального значения, приобретает *отсоциумный денотат* и *отсоциумный коннотат* [Рут 2001: 64]. Имя собственное вбирает в себя культурные коннотации, за счет чего *формируются фантомные лексические значения*, которые превращают его в промежуточное звено между онимом и апеллятивом – в коннотоним (по определению Е. Отина [Отин 1980: 3]). Имя собственное варьируется в социуме посредством многочисленных вариантов и дублетов, реализующих денотативное и коннотатив-

ное наполнение семантики имени. Общество через оним может различать конкретный объект и передавать дополнительную информацию о нем. Более того – оно стремится выразить связанные с этим объектом чувства, оценить его. Онимам свойственны информативная и эмоциональная функция [Карпенко 2007: 457]. По убеждению М. Е. Рут, одна из причин нерешенности данного вопроса – в стремлении решить его для всех онимов сразу. Между тем существование единой модели онима, очевидно, следует признать мифом. Надо полагать, что вопрос о наличии/отсутствии и характере лексического значения собственных имен решается только по отношению к конкретным их классам [Рут 2001: 59; см. также Кравчук 2000а: 130–135].

Различные типы онимов могут быть в различной мере нагруженными определенной информацией, в частности и лингвокультурной. Эта информация формирует их ассоциативный фон. Во фразеологической картине мира ассоциативный фон находит свое лингвальное выражение, поскольку главным образом благодаря выходу на ассоциативные составляющие, на связанную с объектом разнообразную информацию можно объяснить основы образования фразеологизмов и паремий с компонентом – именем собственным. Ученые считают, что в составе фразеологических единиц (ФЕ) имя собственное (ИС) выполняет символично-прагматическую функцию [Лазарева 2017; Стернин 2015]. В контексте нашего исследования ИС может обозначать стереотипный образ, принадлежащий определенному концепту (в нашем случае – концептам человек, мужчина, женщина).

По убеждению В. Мокиенко, антропонимы в состав ФЕ попадают уже в переосмысленном виде, и выбор имени во многом определяется его коннотативной семантикой, с одной стороны, и структурой (формальной организацией микротекста ФЕ), с другой. ИС как фразеологизированное наименование оказывается амбивалентным: с одной стороны, оно сохраняет ономастические признаки, с другой – превращается в апеллатив [Мокиенко 1980]. Апеллативизация, по убеждению Масловской, происходит вместе с его экспрессивизацией и пейоративизацией. ИС как компонент ФЕ реализует фразеологически связанные символические значения, генетически связанные с ассоциациями, сопровождающими денотаты онимов, вписанные в общественное сознание носителей языка. Социокультурный ореол ИС может опираться на интернациональные ассоциации и на такие, которые существуют лишь внутри одной культуры и не актуализируются в сознании представителей другого социума.

Стимул коннотонимизации и символизации имени – его популярность. В случае, если имя переживает своего носителя, оно становится символом благодаря присоединению ассоциативной семы, обозначающей характерную черту или характеристику (**имя собственное** → **коннотоним** → **символическое имя собственное**). Символичность здесь понимаем как стабильную коннотированность, наличие одной и той же коннотации в по крайней мере нескольких фразеологических контекстах. Антропонимы обладают способностью коннотировать признаки, смежные со своим классом, то есть признаки, характеризующие человека. Одной из функций ИС в составе ФЕ является номинация+характеристика человека вообще, мужчины или женщины. Процесс такой номинации и характеристики происходит на основе метонимии, которая, наряду с метафорой, оказывается одной из базовых операций человеческого сознания.

В. Мокиенко выделяет три типа ФЕ с различной степенью актуализации ономастического компонента: ● ФЕ с ИС, связанные с общеизвестными мифологическими, литературными источниками или историческими фактами; такие единицы образуются путем «сжатия» мифического, литературного или фольклорного текста в пословицу, поговорку и даже слово; таким ФЕ характерна функциональная близость ономастического компонента с именем собственным; ● ФЕ с ИС, возникшими путем обобщения еще до фразеологизации вследствие своей социальной оценочности; за такими единицами не стоят представления о конкретном историческом лице или событии; ● ФЕ с ИС, в основе которых лежит шутка, каламбурное перефразирование как средство создания фразеологической экспрессивности; ономастическая функция такого имени – фольклорная, связь с именем – фиктивна, а сама ФЕ образуется путем не сворачивания, а эксплицирования; ФЕ этого типа отличаются значительной мерой экспрессивности вследствие спаянности их актуального и этимологического значения; сематическая насыщенность ономастического компонента в таком случае вступает в противоречие с принципиальной асемантической именности собственного [Мокиенко 1980].

Наиболее многочисленными в собранном нами материале оказались ФЕ с антропокомпонентом, в которых источником лингвокультурной информации ИС является социум. Здесь обнаруживаем ФЕ с социально маркированным АК (антропокомпонентом) и ФЕ с псевдоантропонимическим компонентом. Значительно уступают по численности ФЕ с АК, восходящим к библейским образам, персонажам национальной истории и литературы.

МУЖСКИЕ ИМЕНА В СТРУКТУРЕ И СЕМАНТИКЕ ПОЛЬСКИХ ФРАЗЕМ И ПАРЕМИЙ. В польском языковом и культурном пространстве наиболее частотными оказываются мужские имена *Bartek, Jan, Jędrysek, Maciej, Marcin, Michał, Wojtek*. Они входят в состав ФЕ, семантически ориентированных на образ мужчины (человека вообще) как физического, физиологического и интеллектуального феномена. С мужскими именами в языковом видении мира поляков ассоциируются интеллектуальные характеристики человека вообще и мужчины в частности. В оппозиции умный – глупый вербально заполненной оказывается правая ее часть: **глупый** ассоциируется с мужскими именами *Wojtek* (*Głupi Wojtek, du bist mein* – фразеологизм, состоящий из двух разноязычных частей, вторая из них представлена немецким *du bist mein* «ты мой» [НКРР, т. 3: 741]), *Maciek* (*Głupi Maciek, Olszowy Maciek* [НКРР, т. 2: 361] – последний фразеологизм содержит «деревянный» атрибут *olszowy* «ольховый» и мотивационно связывается с традиционной для славянского фразеологического пространства «деревянной» метафорой в языковой репрезентации дурака), *Jasio* (*Głupi Jasio*), *Jędrysek* (*Idź, głupi Jędrysku, ze dzwonkiem* – обращение к глупому, глупцу; здесь имеем связь глупца с образом шута, в обязанности которого входило развлекать и смешить забавными выходками господ и гостей. Традиционно шут избображался в колпаке с бубенцами).

Совмещенными семантическими признаками глупого в ФЕ с мужским именем собственным оказываются **интеллектуально неразвитый** (мужское имя *Wojtek*): *Wojtku, jak ci na imię?* – «о глупом, умственно недоразвитом человеке» [НКРР, т. 3: 741], **простаковатый, неотесанный** (*Bartek*): *Bartek z niego* – «простак, неотесанный, дурак» [НКРР, т. 1: 64]; *Bartek za piecem wychowany* – «простак, неотесанный, дурак» [НКРР, т. 1: 64] (локальный компонент последнего выражения «за печкой воспитанный» усиливает ограниченность жизненного, а следовательно, и интеллектуального пространства дурака), **неповоротливый** (*Wojtek*): *Szykowny jak malarzów Wojtek* – «о глупом, неповоротливом человеке» [НКРР, т. 3: 741], **глупый, беспомощный** (*Iwan*): *Iwan: ni Bogu, ni nam* – «глупый, беспомощный человек» [НКРР, т. 1: 808] (имя *Iwan* – коннотативный оним с устоявшимся символическим значением «простак, деревенщина»), **бездарный** (*Fafuła*): *Barnaba Fafuła, Fafuła gotowo z niego* – «глупец, бездарь». Эта характеристика в польской фразеологии объявляется потомственной и расширяется на целую семью *Fafuly*: *Niech żyje pan Fafuła, pani Fafulmo i młode Fafulynta!* [НКРР, т. 1: 558]. В приведенных примерах имеет место явление звукосимволизма, связанного с особым «неприличным»

фонетическим значением буквы «фита» (Ф), в польском алфавите **f** (ср. рус. **фофан, фефела, фатой, фалалей** – апеллятивизированные гипокористические формы имен **Феофан, Феофил, Фалалей**, ставшие коннотативными онимами с ярко выраженным экспрессивным, пейоративным значением «дурак, несообразительный, глупый»).

С мужскими именами собственными связывают поляки и внешние проявления глупости: **речь глупого** ассоциируется с мужским именем **Michał**: *Mówisz jako prawy Michał* (оборот немецкого происхождения: с XVI века в польском языке оборот *der deutscher Michel* имел значение, аналогичное польскому *dureń* «pot. obraźliwa forma zwrotu do mężczyzny») [NKPP, т. 2: 443]; ср. *pisać michałki* – в журналистском жаргоне «писать глупости» [NKPP, т. 2: 444]; *ma michałki w głowie* [NKPP, т. 2: 443]. О человеке, не умеющем говорить четко и логично, поляки скажут *dokoła Wojtek*, так говорят «о человеке, вновь и вновь повторяющем одно и то же». Этимологически выражение связывают с обращением сельских детей к аисту, называемому обычно *Wojtkiem*, который плавно кружит над своим гнездом [NKPP, т. 3: 741]. Здесь имеем ассоциацию с уже упоминаемым именем **Wojtek**, которое, как видим, имеет социально-культурную связь с проявлениями глупости.

С мужским именем **Wojtek** связывается и **поведение глупого**: *Chodzi jak niesolony Wojtek* – «ведет себя как дурак» [NKPP, т. 3: 741]. Растерянный, перепуганный, дезориентированный человек связывается с именем **Filip**: *Wyrwał się jak Filip z konopi* «о человеке нерассудительном, который все делает молниеносно, но при этом сначала делает, а потом думает» [NKPP, т. 1: 566]. С этим же именем связывают поляки и глупую улыбку на лице: *Śmieje się jak Filip na jelito* – «о глупо, бессмысленно улыбающемся человеке» [NKPP, т. 1: 566]. Заметим, что в польской фразеологии имя *Filip* оказалось ассоциативно амбивалентным: наряду с ассоциацией *Filip* – *глупый*, это имя апеллятивизировалось и приобрело значение *filip* «ум» (ср. *mieć filipa w głowie* «быть умным, мудрым, рассудительным» [NKPP, т. 1: 566]). Такое же значение слово имеет и в чешском языке.

Физиологические характеристики человека, связанные с мужским именем собственным, выявлены лишь в одном примере. Они связаны с именем *Piotr*: *Nie każdy Piotr łysy, znajdzie i Piotra z czupryną* «не все люди одинаковые» [NKPP, т. 2: 934].

Более активно представлены ФЭ с мужским антропонимом, определяющие черты характера и поведение: **странный**: *Każdy Piotr dziwny* (по Брюкнеру, выражение восходит к средневековым латинским пословицам) [NKPP, т. 2: 934]; **обжора**: *Nienapchany (nienażarty) Maciek*

[НКРР, т. 2: 363] (заметим, что апеллятивизированный оним *maciek* в польском языке обозначает «желудок»); **врун**: *Antek z Powiśla*; **пьяница, озорник, лоботряс**: *Antek zwierzyniecki, Antek znad Wisły (z Bugaja)* (Звезинец – предместье Кракова; Повислье – район Варшавы; Бугай – название улицы на Повислье) [НКРР, т. 1: 23] (апеллятивизированный оним *antek* в польском языке обозначает «озорник, лоботряс»); **хулиган, дебошир**: *Dawniej Piotr był Piotrem, a lotr lotrem* [НКРР, т. 2: 934]; **поведение такого человека сравнимо с поведением черта**: *diabeł Iwan, to prawdziwy Iwan (diabeł Iwan – народное название дьявола)*.

В группе единиц «образ мужчины (человека вообще) как социального феномена» мужские имена репрезентируют **социальное расслоение общества**: *Niech pan panem będzie, a wygodą sługa, Bartosz do siekiery, a Maciek do pługa* [НКРР, т. 1: 64]; *Dobra psu mucha, a Matiaszowi płotka* [НКРР, т. 2: 361]; **особенности менталитета представителей социального «верха» и «низа» – слуг и господ**, а также предубеждение в том, что из слуг получаются худшие господа: *Jak się Pioter do dwora dostał, Luter się z niego zrobił* [НКРР, т. 2: 934]; *Nie daj, Boże, pana z Iwana* (имя собственное *Iwan* здесь употреблено в символическом значении «простой человек, слуга, бедняк» [НКРР, т. 1: 808]. В некоторых примерах форма имени собственного (в этом случае мужского и женского в одном фразеологическом контексте) идентифицирует не только пол, но и возраст (молодой – зрелый) и включается в семантическую сферу «жизненный опыт»: *Czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał* [НКРР, т. 1: 853]; *Z Baśki będzie Barbara, ale z Bartka Bartek* [НКРР, т. 1: 61]. В последнем примере можно говорить о статусных отношениях в браке: женщина, выйдя замуж, должна стать женой и приспособиться к новому, семейному статусу даже по форме имени, а глава в семье – мужчина (его статус, как и форма имени, остаются неизменными).

К этой группе ФЕ с мужским антропонимом примыкают и единицы с семантикой **оба одинаковые**: *Zdybali się (zebrali się) dwa Jędruchy: jeden ślepy, drugi głuchy* [НКРР, т. 1: 346]; *Kto z kim, a Piotr z Kubą* [НКРР, т. 2: 934]. Обнаружена нами и единица *To je wszystko jedyn Woitek* «нет никакой разницы». В польской лингвокультуре мужское имя собственное *Iwan* специализировалось также на эвфемистическом наименовании беса, что отражено в ФЕ *Trafłł bies na Iwana* «встретил свой своего».

Особую группу в собранном нами материале образуют ФЕ с компонентами-псевдоантропонимами, различным образом имитирующими реальные антропонимы. По характеру и модели имитируемого имени это «говорящие подобию» собственных имен, «подстроенные» главным обра-

зом под модель фамилии. Такие псевдоимена спроектированы на образ мужчины (человека вообще) как физического, физиологического и интеллектуального феномена, где названные характеристики тесно переплетаются с социальными и в ряде случаев мотивируются ими. Мужские фамилии способствуют формированию семантики **легкомысленный**: *Pan Niechajno* (своего рода польский пандан русского *авося*); **растерянный, перепуганный, дезориентированный**: *wyrwał się jak Konopacki* [НКРР, т. 2: 115]; **непунктуальный и ленивый**: *Spoźnialscy i Lenie jedno pokolenie*; **богатый и скупой**: *Chce i Dzierżek, i Nieczuja*; **эгоист**: *Pan Sobieski z niego (sobek – «эгоист»)*; **пьяница**: *Łapikufel tu na imię, a przezwisko karczma brat (Łapikufel – старопольское название комедийных пьяниц)*. Псевдоантропонимы-мужские фамильные наименования характеризуют и сильно **храпящего**: *Uciąć Chrapickiego, Czytać dzieło Chrapickiego*.

В группе ФЕ с компонентом-библионимом, именем исторического и литературного персонажа мы обнаружили значительно меньше примеров, содержащих мужские имена из указанных сфер лингвокультурной мотивации мужских антропонимов. Интересующих нас мужских имен в составе ФЕ, содержащих социокультурную гендерную оценку, оказалось 10 (часть из них будут представлены ниже). Здесь эпизодически представлена сфера имен библейских персонажей, где имена Адама и Евы формально взаимодействуют с общей семантикой **оба грешны**: *Adam zmawia na Ewę, na Adama Ewa – a oboje jedli z drzewa*. Имена реальных лиц (исторических личностей) в польских фразеологизмах и паремиях с мужским антропокомпонентом оказались связанными с определенными периодами польско-украинской истории: с характеристикой мужчины **грязный, ловелас** связаны имена Ивана Гонты и гетмана Ивана Мазепы: *Wygląda jak Gonta* (Иван Гонта – сотник казаков графа Ф. Потоцкого, в 1768 г. возглавил бунт против польского угнетения, после бунта был казнен), *Usmarowany jak Mazepa, To Mazepa* (вероятно, здесь оказались мотивационно задействованы не только отголоски народных преданий о любвеобильности Ивана Мазепы, ставшего впоследствии казацким гетманом, но и «говорящая» составляющая его фамилии, ведь и в украинском языке апеллятивизированный оним мазепа имеет, кроме значения «предатель», значение «грязнуля, замарашка» – от *мазать, измазаться*). Социальная мотивация имеет место в выражении *Żaden Chodkiewicz garnców nie przystawiał* [НКРР, т. 1: 277] (Ходкевич Ян Кароль (1560–1621) – польский военачальник, великий гетман литовский). Имена литературных персонажей в нашем материале представлены одним примером, где мужское имя соб-

ственное выступает как символическое воплощение **трусости** и **измены**: *Jak Albertus po karczmach tylko wojował, a prochu nie wqchał* (Albertus – герой двух сценических произведений «Wyprawa plebańska» и «Albertus z wojny», 1550 г.).

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА В СТРУКТУРЕ И СЕМАНТИКЕ ПОЛЬСКИХ ФРАЗЕМ И ПАРЕМИЙ. Наиболее частотными женскими именами оказались *Dorota, Agnieszka, Apolonija, Anna, Maryna, Katarzyna*. Рассмотрим образ женщины как физического, физиологического и интеллектуального феномена. Менее многочисленная представленность женских имен в сравнении с мужскими отразилась и на меньшем количестве характеристик женщины в семантике польских фразем и паремий с компонентом-женским антропонимом. С женскими именами *Kasia* и *Agnieszka* в языковом видении мира поляков ассоциируются **интеллектуальные характеристики** женщины **глупая**: *Idź, głupia Kasia! Była Kaśka bez fartucha, jeszcze jej gorset wzięto* – «о глупой женщине» [НКРР, т. 2: 43], *Agnieszki, kiedy nie złe, głupie* [НКРР, т. 1: 10]. В последнем примере обобщающая семантика ФЕ эксплицируется и формой множественного числа женского имени *Agnieszki* – все женщины либо злые, либо глупые.

В отличие от системы мужских имен, в системе женских антропонимов более ярко представлена внешность женщины – **красивая**: *Wystrojona jak rosieńska Magdalena* (здесь представление о красоте женщины, возможно, связано с представлениями о известной своей красотой и умением экстравагантно одеваться жительнице Россиен) [НКРР, т. 3: 69]; **толстая**: *Gruba Berta* – «толстая женщина» [НКРР, т. 1: 76] (интересный пример «обратного» переноса наименования, поскольку метафорическое развитие значения произошло по схеме на основании представления о размере оружия → предмет большого размера (мощная немецкая пушка) → толстая женщина (Берта, жена немецкого оружейника Густава Круппа, производившего вышеупомянутые пушки)); **небольшого роста, но крепкая, жилистая**: *Mala Jadwiga, a zboże dźwiga* (апеллятивизированный оним *jadwiga* в польском языке обозначает также большой крюк для подъема грузов и крючок, на котором закрепляется котелок над огнем). К характеристикам внешности отнесем и **неумение одеваться со вкусом**: *To jemu tak jidzie, jak na Jadwidze* [НКРР, т. 1: 813]. Здесь переосмысление женского имени также связывается с уже упоминаемым крючком: одежда на чело-веке висит как на крючке (вешалке).

Черты характера женщины, представленные в системе ФЕ с женским антропонимом, коррелируют со стереотипными социокультурными

представлениями о женских характеристиках, таких как: **злобная**: *Dobra Agnieszka, kto z nią nie mieszka, Agnieszki, kiedy nie zle, głupie* [НКРР, т. 1: 10] (в последнем примере, о котором мы уже упоминали, интеллектуальные характеристики женщины «глупая» неразрывно связываются с чертами характера «злая»); **болтливая, сплетница**: *Zeszły się dwie Marysie: baju, baju obie* «о сплетницах» [НКРР, т. 2: 394], ср. грубое просторечное выражение *gadać/mówić o dupie Maryni*, обозначающее разговоры ни о чем, пустую трату времени на беспредметные разговоры [SFJP, т1: 96].

Поведение женщины представлено лишь негативнооценочной характеристикой **женщина легкого поведения, развратница**, связываемой в польской лингвокультуре с именем *Dorota*, которое превратилось в синоним женщины легкого поведения: *Każda Dorota ma swoje kłopoty (Każda Agata ma swoje tarapata)* [НКРР, т. 1: 9]; *Nie namówisz, nie Dorotka. Nie Dorotkam. Słodko, Dorotko, ale drogo, niebogo. Słodka Dorotka, ale droga nieboga. Dorotka – niecnotka. U Dosi nic nie uprosi* [НКРР, т. 1: 473].

Женщина как социальный феномен представлена в ряде фразем и паремий с антропокомпонентом, семантически ориентированных на ее социальные характеристики. Так, **качества хорошей жены** в браке приписаны **Аполонии**: *Każda Połonka – to dobra żonka* [НКРР, т. 1: 24]. **Советы и предостережения в семейной жизни** – указание женщине на ее семейное положение и место в семейных отношениях представлены в выражении: *Maryna, trzymaj się kaptura* [НКРР, т. 2: 394] (каптур – старинный женский головной убор с круглым наголовником, затянутым цветной тканью, символизировал женщину в браке и замужнее положение женщины). **Сексуальные, семейные отношения** представлены в паремиях с семантикой «каждая женщина найдет себе пару»: *Każda Kasia trafi na swego Jasia* [НКРР, т. 2: 43], *Każda Magdalena znajdzie swego pana*.

Дальнейшие примеры с компонентом-женским антропонимом социально характеризуют не женщину – **они «адресованы» мужчинам**: *Kasza i Kasia są to dwie potrawy: jedna na pożytek, druga dla zabawy* [НКРР, т. 2: 43] (данное выражение базируется на игре слов, в которой очевидно проступает андроцентризм языка и культуры и мужское доминирование в них – женщина создана для ублажения мужчины). В следующих двух паремиях народная мудрость предупреждает мужчину: если не нашел богатой, родовитой женщины, довольствуйся тем, что есть, через своеобразное столкновение в паремийном контексте полного (которое употреблялось для именованя женщины родовитой)

и гипокористического имени женщины, типичного для простолудинок: *Jak nie ma panny Marianny, dobra i Maryśka* [НКРР, т. 2: 394]; *Jak nie ma panny Katarzyny, to i Kaśka dobra* [НКРР, т. 2: 43]. Обнаружены нами также примеры-предостережения мужчинам относительно женитьбы, содержащие женское имя собственное: *Nie jedna panna ma na imię Anna* [НКРР, т. 1: 22] – ни на одной женщине свет клином сошелся и *On chce Haneę, a nie ścianę* – о мужчине, женищемся по любви, а не ради приданого [НКРР, т. 1: 22] (ср. выражение с противоположным брачным «ориентиром» *On chce ścianę (chałupę, majątek), a nie Haneę*).

В системе женских псевдоантропонимов, также имитирующих формы женских фамилий, прослеживаются сходные с системой собственно антропонимов характеристики: **болтливость**: *Panna Trzepakowska*; **злость**: *Ciocia Potulicka*; **чрезмерная экономность**: *Pani Tańska, co w niebie tabakę sprzedaje* (*Tańska* – имя, производное от слова «дешевый»). Выражения с подобием женской формы фамилии характеризуют **женщину легкого поведения, распутную и развратную**: *Panna Umizgalska. Pani Daradzkiej córeczka*. Интересно выражение *Madame de Cosel de Baranie-Nóźki* (*Madmężel de Kozel*) с каламбурным развитием образности фамилии, построенной на звуковом сходстве *Cosel* – *Kozel*. На сходном приеме основана форма паремии *Mademoiselle de Cosel de Baranie Róźki, de Mysie Ogonki, de Szczurze Nóźki* – здесь образ развратной женщины спроецирован на образ *Hrabiny de Cosel* – фаворитки короля Августа II).

Два выражения с женским псевдоантропонимом характеризуют женщину по роду занятий или профессии: **баба-повитуха**: *Panna Babska* (наименование женщины *baba* в польском языке, как и в других славянских, обозначает также бабку-повитуху) и **женщина-полицейский**: *pani Władzia* (здесь очевидно созвучие женской псевдофамилии с наименованием власть *władza*).

Фразеологизмы с компонентом-библионимом главным образом ориентированы на имя библейской *Ewy*, наследницами греха которой выступают все женщины. Здесь представлена женщина **хитрая, коварная**: *Jewa jabłko zjadła, a Jadamowi wógrizkę dała, Ewa zgrzeszyła, Adama skusiła*; **женщина легкого поведения**: *Wesołe córy Ewy* «женщины легкого поведения»; которая **разрешает себе роскошную жизнь**: *Bonuje sobie jak Ewa w raju*. Фразеологизмы с именем исторического персонажа (в нашем случае – с именем реального политика) характеризуют женщину через сопоставление с женщиной, имя которого такие характеристики воплощает: **женщина-политик** *Ma głowę jak Metternich* (Клеменс Вацлав Меттерних – известный поли-

тик, австрийский канцлер), а форма двух других ФЕ представляет собой разновидность родо-половой транспозиции с использованием модели «*мужское*» + в юбке: **хитрая женщина, хороший дипломат: *Metternich w spódnicy*; властная, энергичная женщина: *Bismark w spódnicy*** (Отто фон Бисмарк – «железный канцлер» Германской империи).

Как видим, и в системе ФЕ с мужским антропонимом, и с женским существенно преобладают единицы с социокультурно маркированным антропокомпонентом. Основой их лингвокультурной мотивации выступают антропометрические образы человека как физического и физиологического феномена и образы человека как социального феномена. Среди ФЕ, источником лингвокультурной информации АК которых оказывается социокультурное пространство, выявлено 61 мужское имя и 15 женских, таким образом, женские имена в этой группе ФЕ составляют лишь четвертую часть, что можно объяснить неравнозначностью мужчины и женщины в социуме и андроцентричностью польского языка как языка постпатриархального типа. Приблизительно такое же соотношение обнаружил Т. Шутковский во всем репертуаре польских паремий с АК: по его подсчетам, мужские имена составляют 74% от общего количества имен собственных [Шутковски 2005]. Количество интересующих нас в этом исследовании мужских и женских имен, источником лингвокультурной мотивации которых оказываются библейские сюжеты, история и литература, оказалось существенно меньшим: среди библейских имен гендерную оценку содержат 2 антропонима: Адам и Ева; среди имен исторических персонажей имеем только мужские имена, которые семантически связываются и с мужскими, и с женскими характеристиками.

В ФЕ с именами литературных персонажей представлены только мужские антропонимы. С учетом данных, полученных в результате анализа, можно утверждать, что в системе фразем и паремий с компонентом – мужским и женскими именем собственным бинарная гендерная система с более или менее четкими характеристиками мужчин и женщин не обнаруживает признаков универсальности. К примеру, глупость, черта, стереотипизированная в андроцентрично сориентированном социокультурном пространстве польского языка как женская, в исследованном материале ассоциируется главным образом с мужскими именами (соотношение 13:2), что можно объяснить генерической функцией маскулинного наименования, его потенциальной возможностью обозначать как мужчину, так и человека вообще. Прояснить ситуацию может исследование актуальной референтной соотношенности

таких единиц, однако этот вопрос станет предметом следующего исследования.

К стереотипно мужским в системе имен с социальным маркером можно отнести поведенческую характеристику «пьяница, хулиган, дебошир», к типично женским – «злобная», «болтливая», «сплетница», «женщина легкого поведения». Любопытно, что в этой группе наименований внешность женщины представлена гораздо более полно, чем мужчины, в то время как физиологические характеристики женщины не представлены вообще. В группе имен, представляющей мужчину и женщину как социальный феномен, обнаруживаем различия. Мужские имена чаще ассоциируются с социальным расслоением общества и семантикой «оба одинаковые», женские имена связываются с семейными, сексуальными отношениями, в которых представлено мужское доминирование, и предписаниями мужчинам относительно выбора жены в браке. Псевдоантропонимы в значительной мере дублируют семантику ФЕ и паремий с собственно антропонимами. Немногочисленные имена исторических и литературных персонажей связаны в большей степени с фоновой информацией, и представляют характеристики, которые за этими именами закреплены в польской социокультурной традиции. Библейская традиция представлена образами Адама и Евы и отражает различные семантические характеристики мифа и стереотипные представления о женщине как наследнице Евиной греховности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- DEJNA, K. (1956): Terenowe nazwy śląskie. *Onomastica*, 1956, 2, s. 103–126.
- GRODZIŃSKI, E. (1973): *Zarys ogólnej teorii imion własnych*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- GRODZIŃSKI, E. (1986): Filozofowie i logicy o imionach własnych. *Onomastica*, 1986, 31, s. 255–282.
- ŁAGINOWICZ, J. (1981): Местоименные функции имени собственного во фразеологии. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne*, 1981, 12, s. 55–63.
- NKPP (1969–1978): *Nowa księga przysłów i wyrażen przysłowiowych polskich*, red. t. I–III: J. Krzyżanowski, red. t. IV: S. Świrko. Warszawa: PIW.
- PLESKALOVÁ, J. (1998): *Tvoření nejstarších českých osobních jmen*. Brno: Masarykova univerzita v Brně.
- PODLAWSKA, D. (2003): *Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii*. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.
- PODLAWSKA, D. (2006): *Słownik frazeologiczny języka polskiego*. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.

- SFJP (1967–1968): *Słownik frazeologiczny języka polskiego*. Stanisław Skorupka. t. 1–2. Warszawa: Wiedza Powszechna.
- SVOBODA, J. (1964): *Staročeská osobní jména a příjmení*. Praha: SPN.
- ZABROCKI, Z. (1973): *Zarys ogólnej teorii imion własnych*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- АБАЕВ, В. И. (1934): Язык как идеология и язык как техника. In: *Язык и мышление*. Москва–Ленинград: Издательство академии наук.
- АЛЕФИРЕНКО, Н. Ф. (1990): Имена собственные в составе фразеологических оборотов русского и украинского языков. In: В. М. Русанівський (ред.): *Шоста республіканська ономастична конференція: Тези доповідей і повідомлень*. т. II. Одеса, с. 5–7.
- БЕССОНОВА, О. Л. (2002): *Оценочный тезаурус английского языка: когнитивно-гендерный аспекты*. Донецк: ДонНУ.
- ГАЛКИНА-ФЕДУРК, Е. М. (1956): *Слово и понятие*. Москва: Уч. пед. изд.
- ГАМКРЕЛИДЗЕ, Т. В., ИВАНОВ, ВЯЧ. ВС. (1984): *Индоевропейские языки и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры*. Тбилиси: Тбил. ун-тет.
- ЗАВАРИНСЬКА, І. Ф. (2009): *Лінгвокультурна мотивація фразеологізмів з онімним компонентом (на матеріалі англійської, польської та української мов: дис... канд. філол. наук, Рівне*.
- ЗАПОЛЬСКАЯ, Н. И. (2007): Рефлексия над именем собственным в пространстве времен и культуры. In: Т. М. Николаева (ред.): *Имя. Семантическая аура*. Москва: Языки славянских культур, с. 133–150.
- КАРПЕНКО, Ю. О. (2007): Ономастика. In: В. М. Русанівський (ред.): *Українська мова. Енциклопедія*, вид. 3-є, зі змін. і доп. Київ: Українська енциклопедія, с. 457.
- КИРИЛИНА, А. В. (1999): *Гендер: лингвистические аспекты*. Москва: Институт социологии РАН.
- КИРИЛИНА, А. В. (2000): Гендерные аспекты массовой коммуникации. In: А. В. Кирилина (eds.): *Гендер как интрига познания*. Москва: Изд-во «Рудомино», с. 47–81.
- КРАВЧУК, А. (2000а): Особливості семантики ономастичного компонента фразеологізму (на матеріалі польської фразеології). *Вісник Львів. ун-ту*. Серія філологічна, 2000а, No. 29, с. 130–135.
- КРАВЧУК, А. (2000б): Семантика компонента фразеологізму у працях українських, російських та польських лінгвістів. *Проблеми слов'янознавства*, 2000б, No. 51, с. 258–261.
- КРАВЧУК, А. (2001): Реалізація семантики власної назви в польській ономастичній фразеології. *Мовознавство*, 2001, No. 2, с. 26–34.
- КРАВЧУК, А. (2003): Семантика антропонімів у польській фразеології. *Проблеми слов'янознавства*, 2003, No. 53, с. 185–191.
- ЛАЗАРЕВА, В. А. (2017): *Имя собственное: проблемы референции*. Москва: Индрик.
- МОКИЕНКО, В. М. (1980): О собственном имени в составе фразеологии. In: А. В. Суперанская, Н. В. Подольская (eds.): *Перспективы развития славянской ономастики*. Москва: Наука, с. 57–68.

- МОРОЗ, О. А. (2016): Ономастична фразеологія в українській та польській мовах в національно-культурному слов'янському просторі. *Наукові записки чорноморського державного університету. Серія Філологія. Мовознавство*, 2016, т. 278, № 266, с. 77–80.
- НЕМИРОВСКИЙ, М. Я. (1938): Способы обозначения пола в языках мира. In: И. И. Мещанинов (ред.): *Памяти ак. Н. Я. Марра (1864–1934)*. Москва – Ленинград: Издательство АН СССР, с. 196–226.
- ОТИН, Е. С. (1980): Материалы к словарю собственных имен, употребляемых в переносном значении. *Вопросы ономастики: Собственные имена в системе языка*, 1980, с. 3–13.
- РУТ, М. Э. (2001): Антропонимы: размышления о семантике. *Известия Уральского государственного университета*, 2001, № 20, с. 59–64.
- СЕРЕБРОВА, Г. А. (2007): Образ женщины во фразеологизмах русского и английского языков. *Вестник Чувашского университета*, 2007, 1, с. 279–286.
- СТЕРНИН, И. А. (2015): *Теоретические и прикладные проблемы языкознания: избранные работы*. Москва–Берлин: Direct MEDIA.
- СУПЕРАНСКАЯ, А. В. (2007): *Общая теория имени собственного*. Изд. 2-е, испр. Москва: URSS.
- ТОПОРОВ, В. Н. (2004): Из теории ономатологии. In: В. Н. Топоров (eds.): *Исследования по этимологии и семантике*. Москва: Языки славянской культуры, т. 1, с. 372–379.
- ТРУБАЧЕВ, О. Н. (1959): *История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя*. Москва: Изд. АН СССР.
- ЧЕРКЕСОВА, З. В. (2017): Эволюция концепта «Женщина» в паремиологии и фразеологии русского языка. *Современные исследования социальных проблем*, 2017, т. 9, № 3, с. 154–161.
- ШПЕТ, Г. Г. (1989): Эстетические фрагменты. In: Г. Г. Шпет (ред.): *Сочинения*. Москва: Модек, с. 602.
- ШУТКОВСКИ, Т. (2005): Образ человека в русских и польских фразеологизмах с антропонимическим компонентом. In.: *Slowo. Tekst. Czas. Materialy Konferencji Naukowej*. Szczecin: WNUS, s. 186–196.

Профиль автора:

Татьяна Алексеевна Архангельская, кандидат филологических наук
Сфера научных интересов: теория номинации, лингвистическая гендерология, фразеология, сравнительное языкознание.

Моравская высшая школа, Оломоуц

Кафедра социальных наук и права

пр. Космонавтов 1288/1

77900 Оломоуц

Чешская Республика

mvso@mvso.cz

tetiana.arkhangelska@mvso.cz

НИНА ВЛАДИМИРОВНА БАРКОВСКАЯ

Россия, Екатеринбург

ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО В КНИГЕ ВИТАЛИЯ КАЛЬПИДИ «ФИЛОСОФИЯ ПОЭЗИИ»*

АБСТРАКТ:

Life-building in the book of Vitaly Kalpidy *Philosophy of Poetry*

The idea of a “poetry corporation”, developed by Kalpidy, is considered. In the book, which collected essays and diary entries from different years, the Ural poet and Kulturtrager builds a coherent concept of provincial poetry as a zone of “cultural separatism” and freedom of life creation, formulates the code of a provincial poet, and speaks of the high mission of poetry in modern society. The contemporary methods of promoting poetry in society implemented by Kalpidy are investigated. The focus is on the problem of author, as Kalpidy understands it. A parallel is drawn with the image of V. Bryusov, the leader of Moscow Symbolists.

KEY WORDS:

Contemporary Russian poetry – Regional poetry – Cultural construction – Mission of the poet – Literary community.

Виталий Кальпиди сознательно позиционирует себя как поэт провинции. Он родился в 1957 г. в Челябинске (в эссе «Поэзия – это то, что от нее остается, если вычесть из нее стихи» автор подробно рассказал, с юмором и даже сарказмом, о начале своего творчества [Кальпиди 2019: 12–33]). Позднее он несколько лет провел в Перми, затем в Екатеринбурге и снова вернулся в Челябинск. Треугольник этих самых крупных на Урале городов составил основу хронотопа не только биографии

* Работа выполнена в рамках проекта «Поэт и поэзия в постисторическую эпоху», грант РНФ 19-18-00205.

и творчества, но и судьбы Кальпиди. Сегодня Кальпиди автор 12 книг стихов, самый активный культуртрегер в пространстве уральской поэзии. Более 20 лет он реализует проект «Уральское поэтическое движение»: им подготовлено и издано около 80 книг уральских авторов, 4 объемные антологии и Энциклопедия Уральской Поэтической Школы (УПШ), инициированы конференции, презентации, сопутствующие видеопроекты, фестивали. Уральскому поэтическому движению (УПД) посвящен ряд статей: [Подлубнова 2015; Подлубнова 2018; Сафронова 2012].

Кальпиди выстраивает не только собственную биографию, но и конструирует «биографию» поэзии региона.

С 2014 г. Кальпиди сотрудничает с челябинским издательством Марины Волковой (книга «Избранное» получила премию П. П. Бажова, стала лауреатом Международной Волошинской премии в номинации «Лучшая поэтическая книга за 2015 год на русском языке», специальная студенческая премия). Множество самых разнообразных материалов, представляющих уральское поэтическое движение, размещено на портале Марины Волковой; есть видеоканал Виталия Кальпиди.²

В 2019 г. в том же издательстве Марины Волковой вышла книга Кальпиди «Философия поэзии» [Кальпиди 2019]. Это не поэтологическое и не культурологическое исследование. Книга собрала ранее написанное автором (эссе, рецензии, предисловия к собственным книгам стихов, фрагменты из дневников), подчинив разнообразный материал одной цели – пропаганде новых поэтических стратегий XXI в.

Кальпиди провокативно разграничивает и даже противопоставляет стихи и поэзию, культового поэта и культурного героя, биографию и судьбу. Так, 1 июня 2019 г. на круглом столе «Поэт и поэзия в современном обществе» (Екатеринбург, Объединенный музей писателей Урала) он заявил, что «самая необходимая и самая радикальная поэтическая реформа состоит в том, чтобы отменить поэтов и реализовать поэзию» [цит. по: Изварина 2019]. Такой подход уже был представлен изданием диологии «Русская поэтическая речь-2016» (Т. 1. «Антология анонимных текстов», Т.2. «Аналитика. Тестирование вслепую», Изд-во Марины Волковой, 2017). Проект привлек многих участников, получил отклики, Кальпиди был отмечен премией Андрея Белого (2017). Более того, Кальпиди считает полезным унифицировать все современные поэтические издания, выбрав нейтральный стандарт оформления поэтической книги, вплоть до объема и периодичности выхода в свет, а са-

² Видеоканал В. Кальпиди URL: <https://www.youtube.com/c/kalpidy>

ним поэтам отказаться от авторских прав на поэтические тексты [Кальпиди 2019: 252–253].

При этом сам Кальпиди из трех звеньев художественно-коммуникативного процесса *автор – произведение – читатель* демонстративно педалирует роль Автора, что особенно заметно в одном из последних видеопроектов «Конференция одного текста (КОТ)». Здесь Кальпиди выбирает одно стихотворение из своей последней книги «Русские сны» (2017), сам его читает, далее два приглашенных литературоведа предлагают свои интерпретации, а затем Кальпиди говорит о том, что *на самом деле* выражено в стихотворении, выступая против множественности трактовок во имя одного, фиксированного авторской волей «стоп-смысла». Но категория автора в его трактовке тоже весьма нетрадиционна, например, он противопоставляет автора-поэта и автора-стихотворца, этот второй («Какавтор») есть враг подлинного автора, т.к. невольно подстраивается под поэтические клише. С другой стороны, из суждений Кальпиди о Есенине, Ахматовой, Решетове явствует, что аксиома нетождественности автора биографического и лирического субъекта для Кальпиди не существует (впрочем, его скепсис по отношению к литературоведению в целом заявлен неоднократно). В «Философии поэзии» он пишет: «Однозначность – это позиция. Многозначность – поза». Поэзия не предполагает никакой толерантности, диалога и сотворчества, сама афористическая форма высказываний Кальпиди безапелляционна. Настаивать на многозначности художественного текста, считает он, это «верх безалаберности»: «Многозначность – это капитуляция неуравновешенного сознания перед другим неуравновешенным сознанием» [Кальпиди 2019: 41].

Владимир Абашев, профессор Пермского университета, создатель фонда «Юртин», хорошо знавший Виталия Кальпиди пермского периода, анализируя его творчество 1980-90-х гг., уже тогда отметил, что вся поэтическая система Кальпиди подчинена принципу сугубой персонификации авторского начала [Абашев 2000: 332]. Такая тотальная авторская персонификация, делает вывод исследователь, становится «текстом культуры». В. В. Абашев пишет: «... мало сказать, что поэзия В. Кальпиди биографична. Биографизм у него становится конструктивным принципом творчества, биография сюжетируется, осознается в телеологической перспективе судьбы [...]. В случае Кальпиди мы наблюдаем то самое “зрелищное понимание биографии поэта”, о котором писал Пастернак, но многократно интенсифицированное. И в фокусе его лирического романа – харизматичный автор-герой, осознавший свою призванность, принявший вызов и разыгравший драму судьбы

на апокалиптически подсвеченных сценических площадках уральских городов...» [Абашев 2000: 358]. Прошло почти 20 лет с момента написания книги В. В. Абашевым, и теперь, благодаря ютубу, мы буквально воспринимаем *зрелищно* лицо, жесты, мимику, слышим тембр голоса Кальпиди.

Как трактует Кальпиди стихи и поэзию?

«Если в свободное время ты занимаешься поэзией – ты стихотворец. Но если поэзия в свободное время занимается тобой, то ты, скорее всего, графоман. Поэт же занимается тем, что следит, как занимается заря» [Кальпиди 2019: 90]. Поэт не тот, кто пишет, а тот, кто видит будущее. Поэт – не лирический герой, не стихотворец! – это тот, кто производит новые смыслы: «Уверен, судьба поэта – создание новых смыслов» [Кальпиди 2019: 124]. С иронией пишет Кальпиди о том, что Первый закон общей теории русской поэзии ему преподал Незнайка (а не Лотман, Гаспаров, Тынянов...): «Смысл есть – рифмы нет. Рифма есть – смысла нет» [Кальпиди 2019: 31]. «Оригинальность – это стихи. Неочевидность – поэзия» [Кальпиди 2019: 43]. «Поэзия производит не стихи, а образы людей» [Кальпиди 2019: 39], «задача поэта – изменить себя при помощи стихов» [Кальпиди 2019: 62]. «Цели у поэта нет. Поэт сам является целью...» [Кальпиди 2019: 78].

Функция поэзии – стимулировать к действию: «...любое стихотворение – это несовершенный поступок. Прекрасные стихи – это прекрасная трусость, созданная для чтения теми, кто собирается стать прекрасными трусами, не совершив прекрасные поступки» [Кальпиди 2019: 124–125]. А действие должно быть изменением жизни, жизнотворчеством – создавая «ангельский» язык, поэт меняет жизнь: «Иная речь создаст иную жизнь» [Кальпиди 2019: 44].

Соответственно, биография интересует Кальпиди постольку, поскольку в ней прокладывает свой путь судьба поэта. Он сам родился в городе, где никогда не было поэзии, «стихи попадались, а поэзии не было» [Кальпиди 2019: 16]. В «Записках из Захолустья» (1998) Кальпиди вспоминает период своего пермского культуротворчества, полагая, что «от биографии можно бежать только в сторону судьбы» [Кальпиди 2019: 158]. Разграничивает Кальпиди «драматичную», эффектную судьбу культового поэта и трудовую, скучную и обыденную жизнь культуртрегера: «Культурный герой – человек, отрекшийся от удачного сценария личной биографии в пользу судьбы, которая сама по себе почти никогда не драматична...» [Кальпиди 2019: 279]. Таким образом, судьба, в трактовке Кальпиди, вела его не к творчеству стихов, а к творчеству (культурной) жизни в том месте и в то время, где он оказывался. И это

не пустая претензия, В. В. Абашев признает, что благодаря Кальпиди, «пермский текст» вступил в стадию самоосознания и самоконструирования [Абашев 2000: 359]. Заметим, что позднее Кальпиди сожалел, что не смог создать «культурного мифа» для Челябинска. Согласно В. В. Абашеву, «как культурный герой он творит культурное пространство в хаотически распадающемся, сопротивляющемся и враждебном мире». «Жизнетворческие интенции представления о поэте-демиурге (...) определяют стратегию творческого поведения», – писал В. В. Абашев [Абашев 2000: 355].

Вопреки эпохе постмодернизма с известным в постсоветской России тезисом «смерти автора», Кальпиди актуализировал комплекс символистского житнетворчества (а учитывая постоянные в его поэзии мотивы создания Бога из факта его отсутствия, напр., в цикле «В раю отдыхают от Бога» – то и теургию, см. упомянутый выше «ангельский язык») и символистский же, берущий истоки в романтизме, культ творческого Я.

Типологически образ поэта у Кальпиди напоминает Валерия Брюсова. В юности Брюсов сознательно избрал роль вождя декадентства, издал три сборника «Русских символистов», прибегнув к мистификации публики, чтобы создать впечатление реального наличия новых поэтов – Кальпиди в Перми издал серию «Классики пермской литературы» (КПП) примерно с теми же целями, только более откровенно иронично. Уже при Советской власти Брюсов возглавил Институт поэзии, о чем с сарказмом писала З. Гиппиус, не простившая Брюсову «большевизма» – Кальпиди создает УПШ (Уральская поэтическая школа). В стихотворении из книги «Русские сосны» он советует юному поэту (в названии текста «Стихи, посвященные юному челябинскому поэту, решившему стать профессиональным революционером» слышится явная отсылка к программному стихотворению Брюсова «Юному поэту»), решившему стать профессиональным революционером: «Чтоб сделать выстрел из карандаша, / возьми графит, сдави его до крови, / езжай в Озёрск, придумай УПШ, / и УПШ всегда тебя прикроет» [Кальпиди 2017: 31].

Можно усмотреть сходство характеров Кальпиди и Брюсова: у последнего отмечали трудолюбие (Цветаева назвала свой очерк «Герой труда», эмблемами Брюсова ей виделись слова *вол, воля, волк*). З. Гиппиус, назвавшая свой мемуарный очерк «Одержимый», в частности, писала: «Но брюсовское упорство, догадливый ум и способность сосредоточения воли – исключительны» [Гиппиус 2001: 68]. Юлий Айхенвальд, очень неприязненно относившийся к Брюсову, попрекал

поэта излишним рационализмом, рассудочностью [Айхенвальд 1994: 387–399]. Кальпиди неоднократно говорит о приоритете смысла над формой, о сконструированности своих поэтических книг. Если Брюсов первым обосновал в предисловии к «Urbi et Orbi» жанр книги стихов и нередко писал автокомментарии, то Кальпиди в книге «Мерцание» 1993–1994 гг. буквально к каждой строке каждого стихотворения дает комментарий (Игорь Ратке в рецензии на книгу «Мерцание» видел в этих комментариях «гипертрофированную серьезность, граничащую с пародийностью» [Ратке 2018]. Несомненно, похожи лидерские черты. Брюсов – организатор московских символистов, редактор журнала «Весы», руководитель издательства «Скорпион»; Андрей Белый вспоминает: «Я видел его Калитой, собирателем литературы...» [Белый 1990: 178]. Кальпиди инициировал издание четырех антологий современной уральской поэзии (1996, 2003, 2011, 2018), причем объем их все нарастает, а издания тут же подвергаются рефлексии (в октябре 2018 состоялся Круглый стол «Проект АСУП как драйвер уральского поэтического движения»). Есть даже некоторое сходство в манере держаться: М. Врубель запечатлел Брюсова в черном, наглухо застегнутом сюртуке, со скрещенными на груди руками, с волевым сосредоточенным лицом, Кальпиди на видео и на различного рода чтениях и круглых столах всегда собранный, прямой, строго одетый, с пронзительным взглядом, очень уверенный в себе.

Но сходство, скорее, «биографическое» (в понимании этого слова Кальпиди), а цели – различные. Брюсов даже теургию трактовал как создание поэтом-соперником Бога прекрасного произведения («Сонет к форме», статья «Священная жертва», позиция Брюсова в дискуссии с Вяч. Ивановым и А. Блоком в 1910 г. о путях и целях символизма). Искусство было для него высшей ценностью: «Быть может, все в жизни – лишь средство / Для ярко-певучих стихов» [Брюсов 1973: 447]. Кальпиди к стихам относится как к средству, а не самоцели. Цель его – социокультурная. Своей утопичностью она перекликается с житнетворчеством «аргонавтов», младшего поколения московских символистов (А. Белый, С. Городецкий, Эллис), которые мечтали переделать Москву, а затем и весь мир, сотворить нового человека. Но Кальпиди делает ставку не на «красоту», которая «спасет мир», а на активную жизненную позицию поэта. В эссе «Почему конечная цель поэзии простирается дальше конечной цели человечества?» он говорит о том, что поэт – пророк, он не предсказывает будущее, но проектирует его, потому что важно «не позволять прошлому происходить с нами вновь и вновь» [Кальпиди 2019: 454–455]. Поэт должен сказать нашей Родине, кто она и что с ней проис-

ходит [Кальпиди 2019: 5–8]. Но для этого и сам поэт должен измениться, стать иным.

Функцию культуртрегера Кальпиди берет на себя потому, что его не устраивает современный поэт-делатель стихов, с ограниченным репертуаром тем и чувств. Если раньше были психотипы: Истерик Серебряного века, Садист времен революционной романтики, Мазохист позднего социализма, то теперь наступило время Нарциссов [Кальпиди 2019: 454], и это ведет в тупик. Кальпиди полагает, что сейчас востребованы «коллективные исповеди» [Кальпиди 2019: 509]. Характерна реакция Кальпиди на выпуск 30-томной антологии «Стихи.ру»: если Мария Ватутина резко отрицательно отнеслась к обнародованию графоманских опусов, то Кальпиди, наоборот, считает это приемлемым: пусть «поэтический народ» (термин О. Аронсона) позитивно решает проблему утилизации свободного времени посредством «самозанятости» в поэзии.³

Так понимаемая миссия поэзии обуславливает постоянно подчеркиваемый ее деятельностный, проективный, преобразовательный характер.

Позицию Кальпиди делают особенно своевременной два комплекса сегодняшней социокультурной жизни: ретромания и ощущение «окраинности» своего существования на «руинах» прошлого.

Алексис Берелович в статье «Вперед в светлое прошлое» отмечает растущую в массах ностальгию по советскому прошлому и приходит к выводу, что настоящее воспринимается многими как остаток исчезающего прошлого [Берелович 2011: 497]. Ориентированность на прошлое у значительной части россиян фиксировал по результатам соцопросов Б. Дубин: «Сегодняшнюю Россию скорее можно назвать страной без будущего – без сколько-нибудь артикулированной авторитетными элитами и принятой основными группами перспективы. После конца утопий XX века (...) преобладают установки на самозащиту, социальную консервацию, символическую компенсацию – образы “врагов”, идеи “особого пути”, ностальгия по воображаемому державному прошлому и т.п.» [Дубин 2011: 512].

Усилия Кальпиди направлены на формирование будущего: «Поэзия – это создание образов будущего языком прошлого» [Кальпиди 2019: 189]. (189). Вот почему его не устраивает «нытье» современных поэтов, ибо суть творческого порыва – «заставить идиотскую ситуацию стать осмыс-

³ КАЛЬПИДИ, В. Репликант. Самозванцы и самозвонцы. (10.09.2019) https://www.youtube.com/watch?v=eQDirhnRw4U&list=PLAq_JTxIUlEQSdxHr6o4iipByj1YCYX&index=5&t=os

ленной» [Кальпиди 2019: 221]. И это будущее Кальпиди предполагает построить именно в региональной поэзии.

По понятным причинам интерес к региональной литературе активизировался в 1990-е гг. Появился целый ряд исследований, посвященных локальным «текстам» культуры: помимо классических трудов В. Н. Топорова⁴ и Ю. М. Лотмана⁵ о «петербургском тексте» и более поздней книги «Пермь как текст» В. В. Абашева, значимы исследования «крымского», «московского», «алтайского», «северного», «сибирского» и др. «текстов». Теоретическому осмыслению понятие «городской текст» в литературе подверглось в работах Н. Е. Меднис, Л. Потаниной, М. А. Гололобова⁶ и др.

В 2004 г. М. П. Абашева констатировала на основании интервью с писателями, что для пермских авторов устойчива оппозиция *столица* – *провинция*. Поэтами старшего поколения провинция осмысливается как хранилище нравственных ценностей – в противовес столичной суете, но вот для самих себя, как жителей Перми, провинция кажется замкнутой, удушающей средой. У более молодых авторов, вошедших в литературу в 1980-е гг., оппозиция со столицей расшатывается, а провинция предстает позитивно окрашенной: это родная земля, место, наделенное мистическими смыслами [Абашева 2004].

В «Философии поэзии» Кальпиди два программных эссе прямо развивают концепцию УПШ – «Провинция как феномен культурного сепаратизма» и «Кодекс провинциального поэта». По мнению Кальпиди, единого культурного пространства для всей огромной России быть не может: «Фрагменты создают целое, а не наоборот» [Кальпиди 2019: 155]. Он признает притягательность Москвы для провинциальных художников: Москва предлагает систему оценок, издательские, премиальные, комментаторские ресурсы, книжные ярмарки, многопрофильную публику [Кальпиди 2019: 299]. Вместе с тем, бегство в Москву – проявление эстетики страха, иллюзия того, что от перемещения внутрь очень большого предмета ты сам становишься больше [Кальпиди 2019: 303]. Убегая с места, где ты родился, можно изменить автобиографию, но потерять твердую почву судьбы [Кальпиди 2019: 141]. Провинциальная литературная «схема» – жест свободы [Кальпиди 2019: 143], свободы

⁴ ТОПОРОВ, В (2003). Петербургский текст русской литературы. СПб.: Искусство – СПб.

⁵ ЛОТМАН, Ю (1996). Символические пространства. In: Ю.М. Лотман. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. Москва: Языки русской культуры.

⁶ МЕДНИС, Н. (2003): Вопросы изучения „городских“ текстов русской провинции In: Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск: изд-во НПГУ, (2.1.2019), <http://rassvet.websib.ru/chapter.htm?1835>; ПОТАНИНА, Л., ГОЛОЛОБОВ, М. (2012): Городской текст как теоретическая проблема. Филологическая регионалистика. 2012, № 1(7), с. 32–37.

не от чего, а для чего, культуртрегер как раз и производит «провинцию как вид неподконтрольного культурного бытия» [Кальпиди 2019: 280].

Совершенно четко Кальпиди прописывает требования к провинциальному поэту: он должен быть всегда трезв (алкоголь, наркотики исключены, поэзия предполагает жизнь, а не смерть), должен быть экономически независимым (творчество не должно быть способом заработка), никогда не вступать ни в какой сговор с властями, не подменять поэзию религией, издав две свои книги, помочь издать как минимум две книги своих товарищей [Кальпиди 2019: 317–318]. Не раз Кальпиди подчеркивает финансовую проблему («А спонсор кто?»), но настаивает на том, что деньги – проблема техническая, а не стратегическая. Ни Родина, ни государство поэту ничего не должны. Главное – свобода и независимость: «Мы выбрали свободу мифотворчества. Свобода выбора перешла в выбор свободы» [Кальпиди 2019: 175], «свободу не завоевывают, ее изобретают» [Кальпиди 2019: 255]. Сверхцель: «можно и нужно создать идеальную культуру внутри неидеального (то есть попросту враждебного) государства» [Кальпиди 2019: 457]. Кальпиди формулирует: «Философия русской поэзии видится ясно: русская поэзия должна превратиться в русскую поэтическую речь, которая, в свою очередь, сформирует новое поэтическое мышление. Новое русское поэтическое мышление может начать *эру русской поэтической жизни*» [Кальпиди 2019: 456–457].

Для реализации идеи поэтической корпорации нужна эстетика взаимодействий, длительный процесс развития, а не одиночные, точечные акции, воркшопы или перформансы. Напомним, что Кальпиди вполне осознанно и последовательно организует культуротворчество уже более четверти века. Антологии, призванные дать моментальный снимок состояния поэтического процесса на Урале, выходят с периодичностью в 7 лет.

Стратегия Кальпиди соответствует современной тенденции развития так называемых «низовых гражданских инициатив». Валентин Дьяконов комментирует: «... новые варианты человеческого общежития постоянно тестируются в рамках низовых инициатив, а если поменять ситуацию не удастся, превращаются в проектную деятельность, эскиз светлого будущего» [Делай Сам/а 2017: 433]. По большей части, эта самоорганизация населения происходит вокруг экологических или политических проблем. Встречные процессы идут в искусстве. Грант Кестер ввел термин «вовлеченное искусство» [Кестер 2013]. Николя Буррио считает, что «возникновение новых технологий, таких как Интернет или мультимедиа, свидетельствует о тенденции к порождению новых пространств взаимодействия и установлению новых моделей взаимо-

отношения с явлениями культуры: “обществу спектакля” (Ги Дебор) на-
следует общество, где каждый обретает в коммуникационных каналах
иллюзию некоей интерактивной демократии...» [Буррио 1999].

Не случайно так велика роль интернета в функционировании совре-
менной уральской поэзии. В таком пространстве произведение перестает
быть самодостаточным объектом, а становится инструментом для орга-
низации процесса сотрудничества художника и публики, причем – в со-
циальной сфере. Роман Осминкин, отталкиваясь от используемого Клер
Бишоп [Бишоп 2005] термина «партиципаторное искусство», предпола-
гающего коллективное творчество «художников взаимодействия», пред-
лагает более радикальный вариант «постпартиципаторного» искусства,
ставящего целью прямой арт-активизм [Осминкин 2016].

В отличие от указанных выше форм «искусства взаимодействия»
проект Кальпиди остается в поле литературы. Поэтическая корпорация,
как ее представляет Кальпиди, это вполне самодостаточный феномен,
но в силу своей масштабности избегающий скатывания в субкультуру.
Тем не менее, эстетическая функция поэзии оттесняется этической (см.
«Кодекс провинциального поэта», автоматически вызывающий в па-
мяти «Моральный кодекс строителя коммунизма», 1961, восходящий,
впрочем, к библейским заповедям). Вот почему Кальпиди, утрируя, го-
ворит, что обществу не нужны стихи, не нужны поэты, но нужна поэзия
[Кальпиди 2019: 258]. Однако поэзия (если не иметь в виду стремление
сделать из своей жизни поэму, что, по справедливому замечанию В. Хо-
дасевича, пагубно [Ходасевич 2008: 35–36]) немыслима без стихов.

Усилия Кальпиди по консолидации уральской поэзии далеко не всег-
да и не всех заинтересованных лиц заражают энтузиазмом. Психоло-
гическое сопротивление могут вызывать авторитарность его поведе-
ния, дидактизм, монологичность изложения идей. Но и представить
современную поэзию Урала без проекта Кальпиди уже невозможно,
и кажутся справедливыми его слова о том, что поэты должны вернуть
себе статус общественного доверия и духовно-интеллектуального авто-
ритета [Кальпиди 2019: 259]. Свою личную биографию Кальпиди сумел
связать с судьбой уральского культурного пространства: «Моя личная
поэтическая энергия – это энергия художника нового типа. Она не за-
мыкается только на поэтическом тексте. Она (...) не может не произво-
дить новые сюжеты, изменяя волей-неволей (скорее при помощи пер-
вой, чем второй) архитектуру культурного пространства» [Кальпиди
2019: 250]. Кальпиди убежден, что «поэзия единственная предлагает
некатастрофичный сценарий развития человечества» [Кальпиди 2019:
256]. Для него вопрос «Что делать?» – химера: «Либо существует дело

и нет никакого вопроса, либо существует вопрос и, как следствие, нет никакого дела» [Кальпиди 2019: 178].

Личностный фактор очень важен. И. В. Кукулин пишет о том, что на общемировой «тектонический сдвиг» в книжной культуре наложились в России процессы радикальных социальных перемен 1990–2000-х гг., в результате которых прежние, политически ангажированные, культурные сообщества (государственные издательства, библиотеки, школа, «толстожурнальная» критика и т.п.) перестали выполнять свои функции. Особенно болезненно этот процесс проявился в усилившемся разрыве между инновативной литературой и обществом, переставшим ее понимать. И. В. Кукулин говорит о региональных поэтических фестивалях, вернувших личный, «телесный» контакт аудитории с поэтами, а чтение вслух или, особенно, прослушивание стихотворения в авторском исполнении позволяет человеку «принять на себя» текст, приблизиться к нему. Эту функцию прекрасно выполняет проект «Голосовые связки» на видеоканале Кальпиди, где поэты сами читают свои стихи. По мнению И. В. Кукулина, отказ от образа писателя как «учителя народа» или «эстрадной звезды» формирует новый образ: писатель – «прежде всего тот, кто проблематизирует важные характеристики самосознания, субъектности, идентичности современного человека и разыгрывает эту проблематизацию “в лицах”» [Кукулин 2019: 505].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- АБАШЕВ, В. В. (2000): *Пермь как текст*. Пермь: Изд-во Пермского ун-та.
- АБАШЕВА, М. П. (2004): Писатель «здесь и сейчас» (территориальная идентичность современных уральских литераторов: пермяки и екатеринбуржцы). In: *Геопанорама русской культуры. Провинция и ее локальные тексты*. Москва: Языки славянской культуры.
- АЙХЕНВАЛЬД, Ю. (1994): *Силуэты русских писателей*. Москва: Республика.
- БЕЛЫЙ, А. (1990): *Начало века. Воспоминания*. В 3-х кн. Кн. 2. Москва: Художественная литература.
- БЕРЕЛОВИЧ, А. (2011): Вперед, в светлое прошлое In: *Пути России. Будущее как культура: Прогнозы, репрезентации, сценарии*. Т. XVII. Москва: Новое лит. Обозрение, с. 491–499.
- БИШОП, К. (2005): Социальный поворот в современном искусстве In: *Художественный журнал*, № 58/59, с. 33–38.
- БРЮСОВ, В. Я. (1973): *Собр. соч в 7 т. Т.1. Стихотворения. Поэмы. 1892–1909*. Москва: Художественная литература.
- БУРРИО, Н. (1999): Эстетика взаимодействия. *Художественный журнал*, № 8/29, с. 33–39, (10.09.2019), <http://www.guelman.ru/xz/362/xx28/xx2808.htm>.
- ГИППИУС, З. Н. (2001): *Живые лица*. Санкт-Петербург: Азбука.
- Делай Сам/а: практики низовых гражданских инициатив* (2017). Коллектив авторов. Москва: Перо.

- ДУБИН, Б. (2011): Координаты будущего в общественном мнении России. In: *Пути России. Будущее как культура: Прогнозы, репрезентации, сценарии*. Т. XVII. Москва: Новое лит. обозрение, с. 500–513.
- ИЗВАРИНА, Е. (2019): Поэт как предмет. *Наука Урала*, №13–14 (1197), июль, (23.08.2019), <http://www.uran.ru/node/5688>.
- КАЛЬПИДИ, В. (2017): *Русские сосны*. Челябинск: Изд-во Марины Волковой.
- КАЛЬПИДИ, В. (2019): *Философия поэзии*. Челябинск: Изд-во Марины Волковой.
- КЕСТЕР, Г. (2013): Коллаборация, культуры и субкультуры. *Художественный журнал*, вып. 89, (10.09.2019), <http://moscowartmagazine.com/issue/8/article/81>.
- КУКУЛИН, И. В. (2019): *Прорыв к невозможной связи: статьи о русской поэзии*. Екатеринбург; Москва: Кабинетный ученый.
- ОСМИНКИН, Р. (2016): Партиципаторное искусство: от «эстетики взаимодействия» к постпартиципаторному искусству *Обсерватория культуры*, Т.1. № 2, с. 132–139, (10.09.2019), <https://rucont.ru/efd/406150>.
- ПОДЛУБНОВА, Ю. (2015): Поэтика трансформаций в современной поэзии Урала. *Известия Уральского федерального университета*. Сер. 2, Гуманитарные науки, 2015, № 3 (142), с. 117–128.
- ПОДЛУБНОВА, Ю. (2018): Условная река абсолютной любви. К выходу 4 тома антологии современной уральской поэзии. *Знамя*, № 10 (2.1.2019), <http://znamlit.ru/publication.php?id=7057> (дата обращения 13.08.2019)
- РАТКЕ, И. (2018): Насекомые и ангелы Кальпиди. *Prosōdia*, 02.03.2018, (2.1.2019), <http://prosodia.ru/?p=2345>.
- САФРОНОВА, Е. (2012): Современная уральская поэзия: антология. *Знамя*, № 12, (16.08.2019), <http://magazines.russ.ru/znamia/2012/12/s19.html>.
- ХОДАСЕВИЧ, В. (2008): Конец Ренаты. In: В. Ф. Ходасевич. *Некрополь. Воспоминания*. Москва: Азбука-классика, с.35–50.

Профиль автора:

Барковская Нина Владимировна (Nina Vladimirovna Barkovskaya)
доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и методики ее преподавания
Автор работ по поэзии Серебряного века, литературе русской эмиграции, современной русской поэзии, современной детской литературе.
Уральский государственный педагогический университет
(Ural State pedagogical University)
620012 Россия
г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26
<https://uspu.ru/>
E-mail: n_barkovskaya@list.ru

ЛУКАШ ПЛЕСНИК

Чехия, Острава

**ФОРМАЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (РУССКО-
ЧЕШСКИЙ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)**

ABSTRACT:

Formal and structural characteristics of analytical adjectives (Russian-Czech comparative aspect)

The article focuses on the problems of analytical adjectives. These lexical units act, as a rule, in relation to the control word in the definition function. Theoretical information about analytical adjectives (A. A. Reformatsky, M. V. Panov) is the starting point for further research on such lexical units. The presence of analytical adjectives in modern Slavic languages, including Russian and Czech, is closely related to reinforcing trends in analytism and agglutination. The main attention is paid to the formal and structural characteristics of the studied lexical units in the comparative Russian-Czech aspect. Analytical adjectives have a rather diverse and rich formal and structural expression.

KEY WORDS:

Analytical adjective – analytical adjective of narrow concept – analytical adjective of broad concept – analytism – agglutination – preposition – postposition – international formant – comparative analysis – Russian language – Czech language.

Вопрос об аналитических прилагательных представляет собой тему, находящуюся на грани трех лингвистических дисциплин – лексикологии, морфологии и словообразования. По мнению Е. В. Мариновой, **аналитическое прилагательное** – «неизменяемая языковая единица, обозначающая непроцессуальный признак и выполняющая в пост- или препозиции (при любом варианте написания, включая слитное) атрибу-

тивную функцию по отношению к имени существительному» [Маринова 2010: 628]. Таким образом, термин «аналитический» воспринимается как несклоняемый, неизменяемый, имеющий нулевую флексию. Определение аналитических прилагательных как неизменяемых лексических единиц, выступающих, как правило, по отношению к управляющему слову в функции определяющего компонента, впервые рассмотрено в научных трудах А. А. Реформатского¹ и М. В. Панова.² В дальнейшем разные аспекты аналитических прилагательных освещались в работах Т. Б. Астен, Д. В. Бондаревского, Е. И. Голановой, Е. А. Земской, Е. В. Мариновой и др.

Важнейшие теоретические сведения детально разработал М. В. Панов, опубликовав в 1971 г. статью *Об аналитических прилагательных*. Информация, представленная в статье, стала отправной точкой многих дальнейших исследований как самого М. В. Панова, так других лингвистов, занимающихся проблематикой аналитических прилагательных. Лингвист создал обстоятельную диахронную классификацию 19 видов аналитических прилагательных, рассмотрев их как с теоретической, так практической точек зрения [Панов 1971: 240–250].

В фокусе внимания настоящей статьи стоит формально-структурный аспект, сравнивающий аналитические прилагательные русского и чешского языков. Отправной точкой для последующего анализа послужил сложившийся к настоящему времени двоякий подход к их пониманию, который условно можно обозначить как узкий и широкий [Ким 2009: 47, Plesník 2019: 35–37]. Исходя из этого, в дальнейшем применяем многословные термины «аналитическое прилагательное широкого понимания» и «аналитическое прилагательное узкого понимания».

¹ **А. А. Реформатский** уже в 30-е годы XX в. опубликовал статью *Упорядочение русского правописания*, выразив мнение, что сложные слова типа *профбилет* можно разделить на отдельные единицы. Препозитивные компоненты типа *проф...*, *глав...*, *спец...* и др. представляют собой новую категорию выражений с нулевой морфологической парадигмой, называя их впервые с помощью термина «аналитическое прилагательное». Более подробно лингвист данную проблематику описывает в научной работе *Введение в языкознание* (1967) и статье *О членности слова* (1972).

² **М. В. Панов** уделяет внимание выражениям, совпадающим с концепцией аналитических прилагательных уже в коллективной монографии *Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование* (том *Лексика современного русского литературного языка*) (1968). Лингвист обращает внимание на аналитические (несклоняемые) лексические единицы, выступающие в роли строительных компонентов в процессе образования новых терминологических единиц и говорит, таким образом, об активизации специфических аналитических компонентов типа *баро...*, *гидро...*, *изо...*, *термо...*, *ультра...* и др. [Панов 1968а: 155].

К **аналитическим прилагательным широкого понимания** относятся, как правило, префиксоиды, греко-латинские препозитивные компоненты и отчасти так наз. первые части сложных слов. В противоположном положении находящиеся к ним **аналитические прилагательные узкого понимания** представляют собой несклоняемые прилагательные или несклоняемые атрибутивные компоненты, выступающие в качестве графически самостоятельных выражений. Следует напомнить, что оба подхода (широкий и узкий) тесно связаны с усиливающимися тенденциями к **аналитизму** и **агглютинации** в современном русском языке. «Несмотря на утверждения, подвергающие сомнению рост аналитизма в русском языке, в работах современных лингвистов все активнее утверждается мнение о существовании в русском языке аналитических частей речи, в том числе и аналитических прилагательных, сложившихся в русском литературном языке как особая часть речи за последние полвека» [Ким 2009: 47]. Аналитизм, с точки зрения нашего понимания, проявляется в морфологической неизменяемости слова, причем грамматическое значение выражается, между прочим, в его сочетании со служебными или полнозначными словами [Ярцева 1990: 31]. Процесс агглютинации можно воспринимать в общем смысле слова как способ образования слов или грамматических форм путем слияния различных лексических составляющих в одно, а именно в сопровождении сокращения их морфологической структуры, но сохранения первоначального смысла [Жеребило 2010: 23].

Массив языковых данных настоящей статьи составлен из словарей современного русского и чешского языков.³ Примеры аналитических конструкций, содержащих в своей структуре аналитическое прилагательное, были подобраны на основе поисковой системы основного корпуса Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru) и корпуса snp2015 Чешского национального корпуса (korpus.cz). Анализ формально-структурной выраженности аналитических прилагательных русского языка обоснован массивом 842 лексических единиц, из общего числа которых 321 (38%) – аналитические прилагательные широкого понимания, 521 (62%) – аналитические прилагательные узкого понимания. Формально-структурная выраженность аналитических прила-

³ Источники массива языковых данных русского языка: *Русский орфографический словарь* (2015) В. В. Лопатина и О. Е. Ивановой (ред.), *Большой универсальный словарь русского языка* (2016) В. В. Морковкина (ред.) и *Новый словарь иностранных слов* (2008) Е. Н. Захаренко, Л. Н. Комаровой и И. В. Нечаевой. Источники массива языковых данных чешского языка: *Pravidla českého pravopisu* (2000), созданные авторским коллективом Института чешского языка Академии наук Чехии, *Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2* (2004) О. Мартинцовой (ред.) и *Nový akademický slovník cizích slov* (2007) Й. Крауса (ред.).

гательных чешского языка представлена общим количеством 326 лексических единиц, из общего числа которых 175 (53%) – аналитические прилагательные широкого понимания, 151 (47%) – аналитические прилагательные узкого понимания.

Аналитические прилагательные обладают довольно разнообразной и богатой формально-структурной выраженностью. В плане нашего анализа уделяется внимание в первую очередь аналитическим прилагательным широкого понимания, затем аналитическим прилагательным узкого понимания русского и чешского языков. Исследуя формально-структурную характеристику анализируемых неизменяемых лексических единиц, внимание акцентировано на трех аспектах – позиционном, связующем и количественном. В рамках позиционного аспекта внимание уделяется расположению аналитического прилагательного по отношению к управляющему слову, связующий аспект исследует способ присоединения аналитического компонента к управляющей лексической единице, и количественный аспект рассматривает количество компонентов, образующих аналитическое прилагательное.

Аналитические прилагательные широкого понимания представлены аналитическими компонентами, находящимися в рамках аналитических конструкций исключительно в препозиции. Как правило, такого рода аналитические компоненты сходны с префиксоидами или несклоняемыми терминоэлементами греко-латинского происхождения (ср. пр. *аква...* (*аквафильтр*), *гомо...* (*гомоморфизм*), *интер...* (*интеркласс*) и др.). В данную группу включены также так наз. первые части сложных слов. Их позиция по принадлежности к классу аналитических прилагательных представляет собой наиболее спорный вопрос. Дело в том, что не все так наз. первые части сложных слов способны полностью выполнять по отношению к управляющему слову функцию определения (ср. пр. *крове...* (*кровезаменитель*), *трубо...* (*труболитейный*), *хлебо...* (*хлебобулочный*) и др.). Следует отметить, что большинство такого рода препозитивных компонентов способны выполнять атрибутивную функцию частично, точнее говоря, они могут определять управляющее слово, по крайней мере, одним из своих значений. К примеру, так наз. первая часть сложного слова *стекло...* обладает по словарю С. И. Ожегова двумя основными значениями: 1) относящийся к стеклу, содержащий стекло (*стеклоткань*, *стеклопластик*, *стеклоцемент*), 2) сделанный из стекла (*стеклоизделия*, *стеклопосуда*, *стеклотара*). Наоборот, есть так наз. первые части слов, которые абсолютно полностью определяют управляющее существительное (ср. пр. *VELO...* (*велоспорт*, *велогонки*, *велогонщик*) < *велосипедный*, *жил...* (*жилпро-*

ект, *жилконтора*, *жилзастройка*) < *жилищный*, *орг...* (*орбюро*, *оргкомитет*, *оргструктура*) < *организационный*) и др.

Формально-структурный анализ аналитических прилагательных широкого понимания осуществлен с трех точек зрения, т.е. исследуются их позиционный, связующий и количественный аспекты.

В русском языке, с точки зрения позиции по отношению к управляющему слову, аналитические прилагательные данной группы находятся исключительно в препозиции. Такое расположение наблюдается как в случае интернациональных (заимствованных) аналитических прилагательных, так аналитических прилагательных русского происхождения, например: *авиа...* (*авиакомпания*), *гидро...* (*гидроагрегат*), *иммуно...* (*иммунотерапия*), *кардио...* (*кардиосигнализатор*), *макро...* (*макроструктура*); *бронне...*, (*броннедрезина*), *воздухо...* (*воздухонагреватель*), *дереву...* (*деревопереработка*), *книго...* (*книгопечатание*), *строй...* (*стройматериал*) и др.

Связующий аспект русских аналитических прилагательных широкого понимания исследует способ графической записи аналитического компонента к управляющему слову. Большинство анализируемых единиц (96%) присоединены к управляющему существительному с помощью простого примыкания. Всего 3% лексических единиц можно на основе собранного массива языковых данных записывать двумя способами, т.е. как с помощью простого примыкания, так через дефис, например: *горно...* / *горно-...* (*горнодобытчик* / *горно-степная территория*), *грузо...* / *грузо-...* (*грузоперевозчик* / *грузо-пассажирский поезд*), *контр...* / *контр-...* (*контрпропагандист* / *контр-адмирал*), *соц...* / *соц-...* (*соцбыт* / *соц-артист*), *яхт...* / *яхт-...* (*яхтклубовец* / *яхт-клуб*) и др. Лишь 1% аналитических прилагательных широкого понимания русского языка графически записываются исключительно с помощью дефисного написания. К таким аналитическим компонентам относятся *вице-...* (*вице-чемпион*), *мини-...* (*мини-бюджет*), *национал-...* (*национал-патриот*) и *экс-...* (*экс-президент*).

Количественный аспект русских аналитических прилагательных широкого понимания однозначен. Все исследуемые аналитические прилагательные данной группы образованы исключительно одной аналитической составляющей, т.е. все аналитические прилагательные широкого понимания в русском языке представляют собой моноксемные языковые единицы, например: *авиалиния*, *бензозаправка*, *видеоаппарат*, *спектропроектор*, *суперинфляция* и др.

В чешском языке в рамках позиционного аспекта расположение аналитического прилагательного по отношению к управляющему сло-

ву соответствует ситуации в русском языке, т.е. все аналитические прилагательные широкого понимания в чешском языке размещены исключительно в препозиции, например: *amino...* (*aminokyselina*), *bio...* (*biomedicína*), *euro...* (*euromond*), *foto...* (*fotobuňka*), *hekto...* (*hektolitr*), *imuno...* (*imunotransfuze*), *kvazi...* (*kvazičástice*), *moto...* (*motocyklista*), *neuro...* (*neuroprotéza*), *turbo...* (*turboagregát*).

С точки зрения способа присоединения препозитивного аналитического компонента к управляющему слову, большинство чешских аналитических прилагательных широкого понимания (98%) присоединены к существительному с помощью простого примыкания. Таким образом ситуация в чешском языке аналогична положению в русском языке, например: *archo...* (*archoпарк*), *eko...* (*ekoturistika*), *extra...* (*extraliga*), *gastro...* (*gastrotonikum*), *helio...* (*helioenergetika*), *infra...* (*infrapaprsek*), *kino...* (*kinoautomat*), *lymfo...* (*lymfouzlina*), *retro...* (*retrosériál*), *velko...* (*velkoknížectví*) и др. Лишь 2% аналитических прилагательных данной группы записываются двумя способами, т.е. как с помощью простого примыкания, так посредством дефисного написания. Такой способ графической записи характерен для аналитических компонентов, выступающих в форме так наз. кодовых определителей *e-...*, *i-...* и *m-...* Они представляют собой инициальные аббревиатуры чешского прилагательного, образованного первоначально от лексической единицы, заимствованной из английского языка, т.е. *e-...* < *elektronický* < англ. *electronic* (*e-banka*, *e-byznys*, *e-kniha*), *i-...* < *internetový* < англ. *Internet* (*i-noviny*, *i-kavárna*, *i-zóna*), *m-...* < *mobilní* < англ. *mobile* (*m-bankovníctví*, *m-byznys*, *m-komerce*).

Количественный аспект аналитических прилагательных широкого понимания в чешском языке полностью сходен с положением такого рода компонентов в русском языке. Все исследуемые аналитические прилагательные данной группы образованы исключительно одним компонентом, т.е. во всех случаях можно говорить о монологемных языковых единицах, например: *auto...* (*autoservis*), *elektro...* (*elektrospotřebič*), *extra...* (*extrasystola*), *ichtio...* (*ichtiografie*), *meteo...* (*meteoservis*) и др.

Аналитические прилагательные узкого понимания представляют собой неизменяемые прилагательные, обладающие в большинстве случаев признаком графически автономной единицы, например: *апаш* (рубашка *апаш*), *бордо* (цвет *бордо*), *букле* (пряжка *букле*), *индиго* (цвет *индиго*), *капучино* (шоколад *капучино*) и др. Исключение составляет небольшое количество лексических единиц, которые способны выступать также как аналитический компонент полилексемных языковых единиц. На письме они фиксируются с помощью дефисного

написания, например: *арт-дизайн*, *допинг-контроль*, *интернет-пространство*, *твиттер-регистрация*, *шеф-повар* и др.

Формально-структурный анализ аналитических прилагательных узкого понимания сделан аналогично анализу аналитических прилагательных широкого понимания, а именно посредством позиционной, связующей и количественной точек зрения.

В русском языке в рамках позиционного аспекта представлены все три возможных способа расположения аналитического прилагательного по отношению к управляющему слову. Самое большое количество аналитических прилагательных данной группы (53%) выступает в постпозиции. К ним можно отнести музыкальные термины, например: *альтино* (тенор *альтино*), *глиссандо* (темп *глиссандо*), *континуо* (темп *континуо*), *модерато* (темп *модерато*), *стретто* (темп *стретто*) и др., гастрономические термины, например: *ассорти* (компот *ассорти*), *капучино* (кофе *капучино*), *мокко* (кофе *мокко*), *оливье* (салат *оливье*), *пюре* (суп-*пюре*) и др., термины из области моды, например: *апаши* (рубашка *апаши*), *галифе* (брюки *галифе*), *гольф* (чулки *гольф*), *декольте* (платье *декольте*), *клеш* (юбка *клеш*) и др., или многочисленные термины из области экономики, культуры и архитектуры, например: *брутто* (вес *брутто*), *нетто* (вес *нетто*), *ностро* (счет *ностро*), *сконто* (скидка *сконто*), *кабуки* (театр *кабуки*), *ампир* (стиль *ампир*), *модерн* (стиль *модерн*), *мореск* (представление *мореск*), *рококо* (стиль *рококо*), *ультрабарокко* (стиль *ультрабарокко*) и др. В препозиции по отношению к управляющему существительному встречается всего 24% русских аналитических прилагательных узкого понимания, например: *арт* (*арт-студия*), *глэм* (*глэм-метал*), *допинг* (*допинг-контроль*), *кофе* (*кофе-пауза*), *мастер* (*мастер-класс*), *рок* (*рок-группа*) и др., включая лексемы, образующие названия географических объектов типа *Сан* (*Сан-Сальвадор*), *Усть* (*Усть-Каменогорск*) или кодовые определители типа *ВИП* (*ВИП-персона*), *ГМ* (*ГМ-соя*). Особую группу образуют аналитические прилагательные, способные выступать в форме графической записи как в препозиции, так в постпозиции. К ним относятся все названия языков и народов, например: *банту* (народ *банту* / *банту* народ), *кечуа* (язык *кечуа* / *кечуа* язык), *коми* (литература *коми* / *коми* литература) и др.

В рамках связующего аспекта в случае аналитических прилагательных узкого понимания в русском языке наблюдается несколько способов присоединения аналитического прилагательного к управляющему слову. Самое большое количество лексических единиц (76%) представляют аналитические прилагательные, фиксированные графически в ка-

честве самостоятельного выражения, например: *беж* (платье *беж*), *вок* (сковородка *вок*), *неглиже* (рубашка *неглиже*), *престиссимо* (темп *престиссимо*), *эскимо* (мороженое *эскимо*) и др. Всего 19% аналитических лексических единиц записываются через дефис, например: *арт* (*арт-группа*), *максимум* (программа-*максимум*), *панк* (*панк-рокер*), *сиди* (*сиди-диск*), *спам* (*спам-рассылка*) и др. Лишь 4% аналитических прилагательных данной группы выступают в двух возможных формах графической записи, т.е. в форме моноксемного выражения, или в виде дефисного написания, например: *гламур* (стиль *гламур* / *гламур-стиль*), *онлайн* (режим *онлайн* / *онлайн-голосование*), *флеш* (*флеш-диск* / *флеш-память*) и др. В стороне от вышеуказанного стоит небольшая группа аналитических прилагательных (1%), присоединяющихся к управляющему слову с помощью простого примыкания, например: *блиц* (*блицконкурс*), *вундер* (*вундеркинд*), *спорт* (*спортзал*) и др.

Учитывая количественный аспект русских аналитических прилагательных узкого понимания, наблюдаются аналитические прилагательные, образованные одним, двумя или тремя компонентами. Самая большая группа (88%) анализируемых выражений – аналитические прилагательные, образованные одним компонентом, например: *бордо* (шарф *бордо*), *континуо* (темп *континуо*), *модерн* (стиль *модерн*), *пикколо* (кофе *пикколо*), *эсперанто* (язык *эсперанто*) и др. Всего 11% данной группы – аналитические прилагательные, образованные двумя компонентами, например: *дюти фри* (зона *дюти фри*), *ин-фолио* (книга *ин-фолио*), *меццо форте* (пение *меццо форте*), *нон-фикшен* (литература *нон-фикшен*), *секонд-хенд* (одежда *секонд-хенд*) и др. В стороне от одно- и двучленных аналитических лексических единиц стоят аналитические прилагательные, состоящие из трех компонентов (1%). К ним относятся, например: *а-ля фушет* (закуска *а-ля фушет*), *персона нон грата* (лицо *персона нон грата*), *кор-а-кор* (положение *кор-а-кор*) или *прет-а-порте* (коллекция *прет-а-порте*).

В чешском языке в рамках позиционного аспекта явно доминирует расположение аналитических прилагательных узкого понимания, как правило, в препозиции (95%), например: *aku* (*aku vrtačka*), *expres* (*expres služba*), *hobby* (*hobby magazin*), *IT* (*IT odborník*), *moka* (*moka soupřava*) и др. Следует отметить, что среди аналитических прилагательных данного типа можно изредка встретить также выражения, занимающие исключительно препозитивное расположение. Такого рода лексические единицы присоединяются к управляющему существительному с помощью простого примыкания, например: *sex* (*sexshop*) или *web* (*webkamera*). Всего 5% представляют аналитические прилагатель-

ные, встречающиеся, как правило, в постпозиции, например: *brutto* (*váha brutto*), *ex off* (*obhájce ex off*), *forte* (*vitamin C forte*), *in memoriam* (*cena in memoriam*), *netto* (*váha netto*) и др.

Анализируя связующий аспект аналитических прилагательных узкого понимания, в чешском языке можно встретить два способа присоединения аналитического прилагательного к управляющему слову. Большинство лексических единиц данной группы графически фиксировано в форме самостоятельного выражения (97%), например: *fajn* (*fajn den*), *light* (*light verze*), *natur* (*natur výrobc*), *retail* (*retail cena*), *triband* (*triband technologie*) и др. Лишь 3% чешских аналитических прилагательных узкого понимания записываются с помощью простого примыкания, например: *data* (*dataprojektor*), *sex* (*sexkoučka*), *šéf* (*šéfredaktor*) и *web* (*webkamera*). Следует отметить, что в отличие от русского языка в качестве связующего элемента не встречается дефисный способ написания.

В рамках количественного аспекта исследуемых аналитических прилагательных в чешском языке преобладают аналитические лексические единицы, встречающиеся в форме одного компонента (78%), например: *blond* (*blond vlasy*), *cool* (*cool novinka*), *kešů* (*kešů oříšky*), *MP3* (*MP3 přehrávač*), *TV* (*TV program*) и др. Всего 16% аналитических прилагательных узкого понимания в чешском языке – аналитические выражения, образованные двумя компонентами, например: *best of* (*best of kolekce*), *go-go* (*go-go tanečník*), *last moment* (*last moment zájezd*), *one-man* (*one-man show*), *public relations* (*public relations manažer*) и др. На границе между формами одно- и двучленных аналитических прилагательных стоят выражения английского происхождения, графическая запись которых возможна двумя способами, т.е. или в форме двучленного выражения со связующим элементом в виде дефиса, или в форме моноксемной лексической единицы (4%). К ним относятся, например: *all-road / allroad* (*all-road / allroad auto*), *hands-free / handsfree* (*hands-free / handsfree zařízení*), *chill-out / chillout* (*chill-out / chillout prostor*) и др. В стороне от вышеуказанного стоит небольшая группа аналитических прилагательных (2%), представляющая собой трехчленные аналитические лексические единицы: *just-in-time* (*just-in-time dodávka*) и *persona non grata* (*diplomat persona non grata*).

Подводя итог представленного выше анализа, можно констатировать, что формально-структурная выраженность аналитических прилагательных весьма разнообразна. В рамках позиционного аспекта аналитических прилагательных широкого понимания доминирует препозитивное расположение исследуемых лексических единиц, а именно как

в русском, так в чешском языках. Так как аналитические прилагательные широкого понимания в русском и чешском языках в большинстве случаев присоединены к управляющему слову с помощью простого примыкания, то, что касается связующего аспекта, мы можем увидеть почти одинаковый результат в обоих языках. Учитывая количественный аспект аналитических прилагательных широкого понимания, в русском и чешском языках полностью доминируют монологемные языковые единицы. В рамках анализа аналитических прилагательных узкого понимания наблюдаются более выразительные различия. Анализируя позиционный аспект аналитических прилагательных узкого понимания в русском языке, можно утверждать, что примерно половина выражений выступает в постпозиции, а лишь одна четвертая в препозиции. Наоборот, в чешском языке явно доминирует расположение аналитических прилагательных узкого понимания, как правило, в препозиции, затем аналитические прилагательные, выступающие, как правило, в постпозиции, образуют лишь незначительную часть. В рамках связующего аспекта в случае русских аналитических прилагательных узкого понимания преобладают лексические единицы в форме самостоятельного выражения, однако значительно представлен также способ присоединения к управляющему слову с помощью дефисного написания. В чешском языке запись через дефис стоит абсолютно в стороне от доминирующего положения в виде графически самостоятельных выражений. В случае количественного аспекта как в русском, так в чешском языках значительно преобладают аналитические прилагательные, образованные одним компонентом. Закljučая тему формально-структурной выраженности аналитических прилагательных, можно констатировать, что они своей разновидностью явно обогащают лексику русского и чешского языков. Такого рода лексические единицы ссылаются на происходящие языковые процессы, в том числе тенденции к аналитизму и агглютинации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- ЖЕРЕБИЛО, Т. В. (2010): *Словарь лингвистических терминов*. Назрань: Пилигрим.
- ЗАХАРЕНКО, Е. Н., КОМАРОВА, Л. Н., НЕЧАЕВА, И. В. (2008): *Новый словарь иностранных слов: свыше 25 000 слов и словосочетаний*. Москва: ООО Издательский центр «Азбуковник».
- КИМ, Л. А. (2009): Вопрос об аналитических прилагательных в современной русистике. *Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство* XV, 2009, № 3, с. 47–54.

- ЛОПАТИН, В. В., ИВАНОВА, О. Е. (ред.) (2015): *Русский орфографический словарь около 200 000 слов*. Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА. МАРИНОВА, Е. В. (2010): Вопрос об аналитических прилагательных в отечественной и зарубежной лингвистике. *Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского* IV, 2010, № 2, с. 628–630.
- МОРКОВКИН, В. В., БОГАЧЕВА, Г. Ф., ЛУЦКАЯ, Н. М. (2016): *Большой универсальный словарь русского языка*. Москва: Словари XXI века, АСТ-ПРЕСС ШКОЛА.
- ПАНОВ, М. В. (1971): Об аналитических прилагательных. In: Ф. П. Филин (ред.): *Фонетика. Фонология. Грамматика*. Москва: Наука, с. 240–253.
- ПАНОВ, М. В. (ред.) (1968а): *Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование. Лексика современного русского литературного языка*. Москва: Наука.
- ПАНОВ, М. В. (ред.) (1968б): *Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка*. Москва: Наука.
- РЕФОРМАТСКИЙ, А. А. (2016): *Введение в языкознание: Учебник для вузов*. Москва: Издательство «Аспект Прессо».
- ЯРЦЕВА, В. Н. (ред.) (1990): *Лингвистический энциклопедический словарь*. Москва: Советская энциклопедия.
- HLAVSA, Z., HRUŠKOVÁ, Z., HŮRKOVÁ, J. et al. (2000): *Pravidla českého pravopisu*. Praha: Academia.
- KRAUS, J. (ed.) (2007): *Nový akademický slovník cizích slov*. Praha: Academia.
- MARTINCOVÁ, O. (ed.) (2004): *Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2*. Praha: Academia.
- PLESNÍK, L. (2019): *Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny)*. Ostrava: Ostravská univerzita. Национальный корпус русского языка. 2019. Режим доступа: <http://ruscorpora.ru/>. Český národní korpus. 2019. Режим доступа: <http://korpus.cz/>.

ПРОФИЛЬ АВТОРА:

магистр Лукаш Плесник, к.ф.н.

Старший преподаватель Кафедры славистики Философского факультета Остравского университета.

Научные интересы автора – исследование актуальных языковых тенденций в современных славянских языках (русский, чешский, польский), морфология, словообразование, лексикология и фразеология современного русского языка.

Katedra slavistiky, Filozofická fakulta

Ostravská univerzita

Reální 5

701 03 Ostrava

<https://ff.osu.cz/ksl/>

lukas.plesnik@osu.cz

Иво Поспишил

Чешская Республика, Брно

**ЖАНР ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО ПОРТРЕТА
У ЛЕОНИДА ФРИЗМАНА (ТЕМА ПАМЯТИ
И ЕЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ)**

ABSTRACT:

**The Genre of the Literary-Scientific Portrait in Leonid Frizman's Work
(The Theme of Memory and Its Axiological Significance)**

The author of the present study analyses the genre of the biographical/literary-scientific portrait in general as an example of a genuine manifestation of metatextual morphology of literary genres in relation to literary criticism. In the case of portraits of literary scholars and critics, which Leonid Frizman in his book *In the Circle of Literary Scholars/Critics* deals with, its subject concerns, above all, the social background of the work of literary critics in a certain cultural and geopolitical area of the former Soviet Union, in the territories of the contemporary Russian Federation and Ukraine in the multinational, multicultural and multilingual space pervaded with the traditions of the 19th-20th-centuries classical, modernist and avant-garde currents. The metatextual character of the literary-scientific portraits is also connected with the analysis of methodological problems and interpersonal data in relation with the ideology of that time. The author of the present study attempts at the comparison of the environment depicted by Frizman with that of former Czechoslovakia, the Czech Republic and Slovakia with all, often substantial, changes which have been taking place since the 1960s up to the present day demonstrating in this way the specific features of national existence, the environment of literary criticism, and the relations with particular politics and with the centres of science and power, i. e. particularly analysing the area aspect of the biographical genre.

KEY WORDS:

Leonid Frizman – literary criticism – Soviet literary critics – methodology – interpersonal relations – ideology – area aspect of literary scholarship/criticism.

Литература первой трети XXI века характеризуется тяготением к переплетению высокого и низкого, эстетически значимых, художественно насыщенных артефактов и массовой продукции, к всеобще ориентированной литературе факта, к транзитивной зоне публицистических и художественных жанровых форм. Огромная масса мемуарных артефактов или художественной литературы, стоящей на грани документальности, аутентичности, эстетической значимости и фикции, является носителем стержневых эстетических ценностей литературы начала XXI века. Литература факта зачастую становится лишь нарративной маской для выявления документальных фактов, и массовая литература документального типа стремится к художественности, фиктивности. Смесь таких жанровых пластов преобразовывается зачастую в сущности нарративных стратегий. В рамках постмодернизма и постпостмодернизма, даже раньше в русле мифологической литературы конца XX века, доминантную роль начинает играть мета- и интертекстуальность. Именно к этой сложной структуре тяготеют и тексты, сочиненные выдающимся русским советским критиком, историком и, в конце концов, теоретиком литературы Леонидом Фризмманом (1935–2018). Книга, которая становится объектом настоящей статьи, была одной из его последних, лебединой песней его литературоведческого творчества; для нее характерно, что и она стоит на упомянутой грани фиктивности и фактографичности [Фризмман 2017а].

Есть исторические периоды, в которых волны мемуаров и документальной литературы усиливаются, что вызвано общественными изменениями, историческими срывами, перерывами, политическими катаклизмами или переходными, транзитивными периодами, связанными с напряженным ожиданием новых явлений, режимов, общественных систем. Речь идет об исторической, личной или поколенческой расплате, оценке прошлого и, разумеется, месте мемуариста в истории [Pospíšil 2016]. С жанрологической/генологической точки зрения, мемуары относятся к группе литературных жанров, которые находятся на грани публицистики, т. е. эстетически иррелевантной литературы, и изящной словесности, *belles lettres*, т. е. литературы художественно значимой. К этим жанрам принадлежат, между прочим, эссе, репортаж, фельетон, колонка, светская хроника, биография и автобиография и весь пласт литературы факта, т. е. документальной прозы. Такой характер носит, например, и роман-хроника, которым я занимался много лет назад [Pospíšil 1983, 1986, 1998].

Очень близко к хроникальным конструкциям стоят именно мемуары, у которых есть своя экспансивно развивающаяся типология. Жан-

ров «на грани» становится больше, сюда включаются биографический и автобиографический романы; сплочение мемуаров как индивидуалистического жанра и хроники как объективистской жанровой формы происходит через повествователя: цель – внедрить в призму индивидуалистического повествования объективную точку зрения извне, или, наоборот, в объективирующий поток повествования – индивидуальный оттиск, отпечаток. В недавнем прошлом наблюдаются разные метатекстуальные разновидности мемуарной литературы; здесь мы только ссылаемся на некоторые наши исследования [Pospíšil 2009, 2016].

Леонид Фрирман (1935–2018) – автор многих книг и статей, разных исследований по русской литературе, однако он занимался и украинской письменностью (Иван Франко). Его монография на стыке украинской, русской, польской и немецкой культур о литературно-критической деятельности Ивана Франко представляет собой особую ценность с точки зрения истории украинского литературоведения [Фрирман 2017б].

Леонид Фрирман является автором и соавтором сотен научных исследований и статей. Он родился в Харькове и учился в харьковских школах. Его книга о русской элегии была издана в Москве [Фрирман 1966]. Он занимался, между прочим, и Е. А. Боратынским/Баратынским, декабристами, А. Дельвигом, его притягивала судьба евреев в Российской империи и еврейские мотивы в русской литературе. Он был, прежде всего, русистом, что демонстрируется его статьями и книгами, но и украинистом (вышеупомянутая книга об Иване Франко и его взглядах на литературу, [Фрирман 2017а], которая показывает его глубокий интерес и широкие знания в области мировой литературы). Фрирман писал, кроме того, об А. Твардовском, А. Галиче, создавал литературные портреты [Фрирман 2017б]. Поколенческие мемуары Л. Фризмана сравнительно точно отражают мир, который уже ушел в прошлое, хотя не целиком, как ничего из прошлого полностью никогда не исчезает. Его книга «В кругах литературоведов. Мемуарные очерки» [Фрирман 2017б] представляет собой детальный анализ литературной, или, скорее, литературоведческой жизни в СССР, омрачаемой не только цензурой и автоцензурой, но и острыми спорами этого времени, личными схватками, тем, что и к нам, в чешскую среду, занесло советское влияние с 50-х гг. XX века и что у нас до определенной степени осталось и на протяжении 70-80-х гг. XX в. Я имел возможность прочувствовать эту атмосферу, перенесенную к нам, включая и носителей этих «привычек», которые после разных переворотов опять-таки стали соответствовать актуальному политическому времени.

Леонид Фризмман относится к младшему поколению советских литературоведов, сверх того, русско-украинских; хотя он дает предпочтение русскому языку как языку своих статей и книг, он написал и книгу об Иване Франко, но он пишет, главным образом, о литературоведах, которые проходили не только сквозь десятки лет сталинской диктатуры, но и через хрущевскую оттепель – их, кроме того, связывали переживания молодости, Великая Отечественная война.

С жанровой точки зрения – так как это аспект, который нас в этой статье интересует больше всего – его книгу литературоведческих портретов можно назвать персоналистской историей русского советского литературоведения 50–60 гг. XX века, так как почти все занимались русской литературой, по существу, классической, т. е. XVIII и, главным образом, XIX веком, что совпадало и с научными интересами самого автора.

Фризмман составил свой текст по принципу жанрового переплетения хронологии с автономными портретами отдельных лиц, с которыми он общался, переписывался, которые писали о его книгах, высказывались по поводу его деятельности, оценивали его квалификационные работы, т. е. кандидатскую и докторскую диссертации, были его сторонниками или, наоборот, противниками, становясь препятствиями в его научной карьере.

С одной стороны, положительно, что Фризмман описывает советскую обстановку еще более красочно, чем это соответствует моему собственному опыту не только с советской литературной и литературоведческой средой, но и условиями в бывшей Чехословакии 70–80 гг. прошлого века; с другой стороны, необходимо подчеркнуть, что в СССР идеология действовала сильнее, чем в Чехословакии, и некоторые ее рудименты пережили свое время и встречаются до сих пор, хотя и в трансформированном виде, так как в СССР более чем 70 лет официально отсутствовала до определенной степени культурная преемственность – в отличие от чешской и чехословацкой среды, например, в связи с положительной оценкой модернистских и авангардных течений XX века, которые прочно остались в сознании культурно активных людей и после 1948 г., не говоря о перипетиях 60-х гг. XX века, когда интерес к ним усиливался. Насколько этот континуитет продолжает жить в молодом поколении – не знаю, но, как известно, никакой феномен никогда полностью не исчезает из культурного сознания и подсознания. Напротив, знание того, что позволено и что запрещено, цензура и автоцензура и взаимное неприятие встречаются и сейчас, т. е. злоупотребление господствующими идеологиями, мейнстримами и сведением старых счетов – все это

описано у Фризмана не только необычно ярко и конкретно, но и с надеждой и определенной долей оптимизма, который, увы, видится в изложении Фризмана слишком «одноцветным». В этом смысле он видит 90-е годы XX века как почти идеальное время, игнорируя противоречивость, препятствия и результаты этого периода в истории России; иначе говоря, он их не видит или не желает видеть. Хотя во многих областях чешская и чехословацкая среда была похожа на советские модели, все-таки здесь не исчезал дух демократии и взаимной толерантности, отказ от так называемого единственного правдивого взгляда, диктатуры и авторитетности. Книга Фризмана, стоящая на грани литературы факта, мемуаров, автобиографии и документа, становится, таким образом, особым путеводителем по истории русского и советского литературоведения, главным образом, с 50-х по 90-е гг. XX века.

Мемуарный текст Л. Фризмана начинается с его детства и еврейской семьи, которая сформировала его общекультурный фон. Его отец Генрих был известным медиевистом, мать Дора, урожденная Гершман, – музыкантом, дирижером ансамбля. Год рождения исследователя свидетельствует о том, что на существенную часть его молодости пришлась война и эвакуация (семья очутилась в далеком Уральске). На Урале семья страдала от лишений, трудно было прокормиться. Члены семьи были сторонниками или, по крайней мере, не противниками большевистской революции и советского режима, и немецкий, нацистский геноцид усиливал их левые взгляды, хотя конец антисемитизма на территории восточных славян оказался иллюзорным [Солженицын 2001]. Леонид Фризман был талантлив в нескольких областях: кроме гуманитарных наук это была математика, что и проявилось в некоторых его литературоведческих исследованиях. Возвращение семьи в Харьков после войны с Урала реализовалось не сразу же; надо было терпеливо ждать вызова из места их довоенного пребывания, чем, по Фризмону, опять демонстрировался скрытый антисемитизм советского общества.

Тема еврейства и антисемитизма со страниц его книги никогда полностью не исчезает. Зачастую упоминаются еврейское происхождение его учителей и разные препятствия в их жизни. Для талантливого человека это неблагоприятная исходная ситуация: тот, кто подвергнут дискриминации, чувствуя, что это все нарочно, тяготеет к подозрительности, может быть, и не по праву, все время ищет общий знаменатель и может и несправедливо обобщать. Хотя бытование в СССР антисемитизма нельзя отрицать, он господствовал в разные эпохи и в других странах, в Центральной Европе, в Германии, Польше, Англии, Испании

и т. д. [Mikulášek 1998, 2002]. Доминантная роль евреев в русском литературоведении советского периода очевидна.

При анализе структуры повествования становится ясным, что кроме явной хронологии здесь встречаются полуоткрытые портреты отдельных лиц и документальные пласты, главным образом, выдержки из корреспонденции. Слабым местом документальной части является то, что автор слишком много ориентируется на самого себя и одновременно он однозначно апологетичен, т. е. он публикует исключительно положительные ссылки, отзывы, похвалу, одобрительные слова, пожалуй, и пеаны на свои литературоведческие достижения, хотя можно предполагать, что в них отражается лишь нормальные человеческие приличия, дипломатия и формальная вежливость – нет причин сомневаться в том, что со времен его становления литературоведом многое до сих пор не изменилось. Тем не менее, можно и здесь обнаружить сравнительно много информационно ценных деталей, например, о А. Твардовском. В связи с характером времени нельзя удивляться тому, что эпистолярное наследие, предлагаемое в этом томе Фризмано, слишком формально: от обращения до политических фраз – незначительны интимность взглядов и их самостоятельность, независимость, т. е. страх был большой и бытовало всеобщее недоверие – *nihil novi sub sole*. Из окружения Твардовского выразителен и его друг Владимир Лакшин (1933–1993): отношение Фризмана к его личности я могу подтвердить, хотя только по краткому общению на братиславской конференции о Солженицыне в начале 90-х гг. XX века (*A. I. Solženicyn v kontexte* 1992): т. е. особый демократизм, сдержанность, глубина мысли, возвышенность, то, что он проявлял и по отношению к самому Солженицыну. Юрий Буртин (1932–2000) также относится к этому кругу журнала «Новый мир» в период 60-х гг. XX века, хотя у Буртина его жизненный путь был намного сложнее, чем у других. Фризман своеобразно отражает и Пражскую весну 1968 года, ибо этому кругу интеллектуалов естественно не нравилось вторжение армий пяти государств Варшавского договора в Чехословакию, но знание конкретной политической обстановки в Чехословакии у них только опосредствовано и неоригинально. В связи с Твардовским можно привести и соавторство Фризмана у книги о литературной критике.

Интересный раздел представляет собой изложение, касающееся очень русской и советской темы, а именно романа «Овод» (*The Gadfly*, 1897) Этель Войнич (урожд. Буль, 1864–1960), повествующего об итальянских революционерах. О связи с семьей Буль и с Михаилом-Вильфредом Войничем, в свое время держателем известной и названной по

нему таинственной рукописи, автор ничего не знает или не хочет этим заниматься.

Фризман пишет в количественном и качественном отношении поразному о ключевых лицах русского советского литературоведения, в том числе о Леониде Баткине, Кирилле Пигареве, Дмитрие Лихачеве, Борисе Двинянинове, Вадиме Вацуро, Борисе Мейлахе, Дмитрие Благом. С характером текста немного идет вразрез глава о двух театральных инсценировках грибоедовской комедии «Горе от ума» (Г. Товстоногов против М. Ефремова). Показательно, что все это связано со временем реализации, т. е. с бунтующей советской молодежью 60-х гг. XX века с одной стороны, и с возобновлением капиталистической морали ельцинской России, с другой, хотя автор как-то забыл о хрестоматийной классической статье Ивана Гончарова «Мильон терзаний» (в русском интернете сейчас находится ее компрометирующее изложение). Как известно, держателем авторских прав на пьесу был никто иной, как Фаддей Булгарин.

Самым ярким из портретной галереи Фризмана является описание связей с казахским поэтом и позже политиком Олжасом Сулейменовым (он родился в 1936 г.). Деликатная тема «Слова о полку Игореве» в его книге «Аз и Я» указывает, по Фризмону, на нетолерантность со стороны русских литературоведов. Интересен и раздел о норвежском русисте Гейре Хьетсо (Geir Kjetsaa, 1937–2008), с которым Фризман переписывался со времени издания своей книги о Баратынском, о котором написал известную монографию, кажется, самую превосходную, и сам Хьетсо – по-норвежски и по-русски. Не стоит подробно заниматься взглядом Фризмана на написание фамилии поэта – об этом много полемизировали в 70-е годы XX века (кажется, правильнее «Боратынский» с учетом его польского происхождения). Фризман периферийно упоминает и деятельность Хьетсо во главе коллектива норвежских и шведских исследователей «Тихого Дона» – но это особая тема о Михаиле Шолохове (1905–1984) и Федоре Крюкове (1870–1920) и применении тогда сравнительно новых технологий в литературоведческом труде [Kjetsaa 1984]. Хьетсо занимался Боратынским/Баратынским приблизительно в то же время, как Фризман; это был ученый классического типа; он был по-германски трезв и систематичен, с прочным филологическим фундаментом и позитивистскими склонностями (я с ним встретился в Англии в 1990 г. на всемирном конгрессе ICSEES, тогда еще ICSEES, и говорил с ним, между прочим, о его статье, опубликованной в прошлом в журнале «Чехословацкая Русистика» о чеховской повести «Дама с собачкой» [Kjetsaa 1971]. Влюбленностью Фризм-

ман называет свое отношение к Ефиму Эткинду (1918–1999), позже французскому теоретику литературы (Efim Etkind), описывая его идеологические проблемы в СССР, которые, в конце концов, привели к его эмиграции.

В книге Фризмана иногда появляются только выдержки из писем, краткие ссылки, заметки или сообщения значительных русских литературных критиков и в общем литературоведов, как, например, Г. Фриденбергера, В. Путинцева, А. Чичерина, Ю. Дружникова, М. Гаспарова, Л. Лазарева и др. (некоторые из них остались в СССР до его горького конца) – людей, по-видимому, разных политических и научных взглядов и мнений. Существенная часть из них теперь почти полностью забыта; однако без них нельзя представить себе уровень изучения русской литературы.

Интереснейший аспект представляет и ареальный характер книги Фризмана. Он сам остается в Харькове, что является, с одной стороны, невыгодным, но, с другой – выгодным положением, он зачастую ездит в Москву, Ленинград, по разным местам в бывшем СССР в качестве участника разных конференций. Он постепенно становился не только специалистом по русскому романтизму, по элегии, но и по Лермонтову, Грибоедову, декабристам и т. д. Оказывается, что советская провинция была зачастую огромным научным центром, так как политически преследуемые очутились на разных должностях в разных городах в Сибири, Центральной Азии, на Кавказе, в Прибалтике, на Украине, или в северной части Европейской России. Судьба Михаила Бахтина (1895–1975) в этом отношении показательна: он вернулся в столицу благодаря Вадиму Кожинову (1930–2001) в конце 60-х годов из Саранска, где он работал заведующим кафедрой всеобщей и затем русской и зарубежной литературы, хотя некоторые говорят, что скорее по ходатайству самого Юрия Андропова, причем существенными для развития его методологии и философии было пребывание не только в Витебске/Вицебске, но и в Невеле, как это записал Виктор Дувакин (1909–1982) и в своей книге проанализировал Виталий Махлин.¹

Замечателен портрет Юрия Дружникова (1933–2008), которого, как известно, прославили книги о потенциальном эмигранте Александре Пушкине [Pospíšil 2004]; может быть, еще значительнее его контакт

¹ См. нашу рецензию: Hledání „velkého času“ Michaila Bachtina (Виталий Л. Махлин: Большое время: Подступы к мышлению М. М. Бахтина. Opuscula Slavica Sedlcensia, tom VIII. Redakcja tomu Roman Mnich i Roman Bobryk. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2015). *Novaja rusistika* 2015, č. 2, s. 76–81.

с Михаилом Гаспаровым (1935–2005), знатоком античности и медиавистом, но, главным образом, блестящим стиховедом.

Как уже сказано выше, тема еврейства вновь и вновь возвращается, например, в разделе, в котором Фризман пишет о жалобе, которую в Харькове получили местные партийные органы, где ее автор писал о еврее Фризмане, который позволил себе читать лекции о великом русском писателе Льве Толстом, что невозможно. Эти жизненные эпизоды, кажется, окончательно ушли в прошлое; они тем парадоксальнее, чем яснее ключевая позиция русско-еврейских литературоведов в мире, куда переносят все стержневые ценности русской литературы и культуры.

Текст Фризмана поучителен и с точки зрения морфологии литературы, ее поэтики и жанровой структуры, как уже сказано выше. Одновременно это интереснейшая мозаика литературоведческих портретов как варианта жанра литературного портрета. Мемуарная проза Л. Фризмана, оригинальная смесь и переплетение литературного изображения и литературоведческого анализа как науки с мемуарной жанровой основой, формирует особую эстетически значимую жанровую форму. Книга Фризмана, следовательно, стоит, сверх сказанного, на грани публицистики, науки и эссе как художественного текста. Фризман продолжает, таким образом, развитие исследования литературного и литературоведческого быта, то, о чем в свое время писал бывший формалист Б. Эйхенбаум еще с конца 20-х гг. XX века в своем объемном двухтомнике о Льве Толстом, в отличие от его формалистского очерка «Молодой Толстой» (1922).

Мемуарная проза Л. Фризмана заключается в познании судьбы не литераторов, писателей, а литературоведения и литературоведов в СССР и позже, т. е. сравнительно закрытого, уже исчезнувшего мира цензурных запретов и преследований, которые глубоко проникали в жизнь людей и в их взаимосвязи, и зачастую выявляли скрытые мотивы поведения. Собственные методологические размышления у Фризмана остаются позади, будто бы они не очень интересовали автора, хотя это совершенно не так; они являются скорее подспудным течением почти всего, о чем автор пишет. Как выявляет сам текст, Фризман был скорее историком литературы, хотя и с критическим и теоретическим уклоном, филологом, а также знатоком литературных жанров, т. е. своего рода жанрологом. Доминантные аспекты его методологии обнаруживаются скорее в конкретном анализе, чем в теоретических декларациях.

После критических замечаний относительно содержания, жанровой формы и нарративной структуры мемуарной и портретной прозы Ле-

онида Фризмана можно точнее подытожить, что является жанровой основой произведения, узловыми пунктами композиции и жанровой канвой, текстуальной сутью этого гетерогенного текста. Нам может подсказать само название или второе название – «В кругах литературоведов. Мемуарные очерки». Идея круга, своего рода цикл портретов, т. е. цикличность как исходная структурная единица [Ibler 2000, Pospíšil 2000] связывается с жанрами мемуаров и очерков. Это вполне достаточно объясняет специфику жанра литературоведческих мемуаров. Это мемуарная структура, осуществленная в жанровой форме очерков с гетерогенной формой и содержанием: отзывы, письма, комментарии, описания знакомств, мнимые цитаты, замкнутые истории, т. е. разнообразные сюжеты, эпос и лирика, и особый драматизм, так что научный текст иногда переходит в фрагментарную художественную ткань. Комментарии с критическим отношением к немного эгоцентрической концепции мемуарных очерков были уже высказаны в предыдущем тексте; то, что бросается в глаза и снижает высокий аксиологический уровень произведения, связано с разностилевой морфологией; с другой стороны, уже упомянутая гетерогенность текста производит эстетически значимый эффект, поразительно усиливающий цельность рамок всего документального артефакта. Критическое отношение к содержательному построению произведения, главным образом, к частично искусственной аксиологии, связанной с тем, что автор отрицательно сплошь и рядом видит только период до перестройки, ослабляет то, что речь идет об индивидуальных судьбах автора и его близких, что указывает на субъективность, экспрессивность и эмоциональность мемуарной ткани, роль которой в сложной жанровой структуре таким образом усиливается. Из этого вытекает и его преклонение перед ельцинской Россией и критическое отношение к ее современному состоянию, может быть, и в связи с событиями на Украине и в Крыму.

Автор не слишком откровенно выражает свои опасения по поводу конфликтов, связанных с киевским Майданом, одесским зверским убийством, языковыми конфликтами, войной на востоке Украины с вмешательством русских, наконец, с аннексией Россией Крыма посредством метода, который русские в прошлом уже применили, ибо в это время он связан и с другими, похожими событиями, например, на Балканах. Все это, наверное, автора, привыкшего к общности, мирному сосуществованию русских и украинцев, в особенности в Харькове, к более или менее дружеским отношениям наций в бывшей великой державе, неизбежно смущало. Это все случилось к концу жизни автора, когда он составляет, формулирует и стилизует структурно сложные мемуарные

литероведческие портреты как многократно преломленный пограничный жанр. Может быть, жанровая несвязность символически отражает и психику автора, выражая хаотичность мира, в котором ему было суждено умирать.

В качестве кейс-микростади можно ближе посмотреть на один отрезок текста, в котором неровности, искривления и неравномерности проявляются ярко и с жанровой точки зрения релевантны. Это, например, знакомство Фризмана с видным русским англистом Александром Абрамовичем Аникстом (1910–1988), шекспироведом. Впервые они встретились во второй половине 60-х гг. прошлого века. Аникст читал работы Фризмана, советуя ему относительно деталей и ключевых признаков научного жанра. Это касалось и составления антологий и серии «Шекспировские чтения» – все проходило в трудное время 70-х годов ХХ века. Позже Аникст, учебные тексты которого я, будучи студентом англистики, читал как обязательные, ведет с Фризманом переписку, что представлено несколькими выдержками, потом следует его портрет и описание его интимного круга. И описание ухода ученого в конце 90-х гг. прошлого века относится к жанровой комбинации литературы факта, документа и эстетически острого изложения.

Мемуарный текст Леонида Фризмана является оригинальным жанром. Он содержит, как уже сказано, несколько жанровых пластов, т. е. мемуары, документы, выдержки из переписки, заметки, сообщения, краткие комментарии и замкнутые сюжеты (например, о стратегии подготовки защиты его кандидатской диссертации), иногда даже хаотичные переплетения разностилевых и разножанровых слоев текста, объединенных системой оценок и темой гуманизма и толерантности, главным образом в связи с мотивами дискриминации евреев и роли литературоведов-евреев в русском литературоведении. Жанр мемуарного литературоведческого, а не чисто литературного портрета и описание литературоведческого, а не только литературного быта, т. е. портрета, содержащего научные аспекты, является жанровой новизной.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

СОЛЖЕНИЦЫН, А. И. (2001): *Двести лет вместе. 1795–1995*. Москва: «Рабочий путь».

ФРИЗМАН, Л. (1966): *Творческий путь Баратынского*. Москва: Наука.

ФРИЗМАН, Л. (1973): *Жизнь лирического жанра: Русская элегия от Сумарокова до Некрасова*. Москва: Наука.

ФРИЗМАН, Л. (1974): *Поэзия декабристов*. Москва: Знание.

ФРИЗМАН, Л. (1987): *1812 год в русской поэзии*. Москва: Знание.

- ФРИЗМАН, Л. (1988): *Декабристы и русская литература*. Москва: Художественная литература.
- ФРИЗМАН, Л. (1992): «С чем рифмуется слово истина...»: *О поэзии А. Галича*. Санкт-Петербург: Ореол.
- ФРИЗМАН, Л. (2015): *Такая судьба: Еврейская тема в русской литературе*. Харьков: Фолио.
- ФРИЗМАН, Л. (2017а): *В кругах литературоведов. Мемуарные очерки*. Москва – Санкт Петербург: Нестор-История.
- ФРИЗМАН, Л. (2017б): *Иван Франко: взгляд на литературу*. Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго.
- A. I. Solženicyn v kontexte európskej literatúry (1992). Zborník príspevkov zo sympozia o tvorbe A. I. Solženicyna. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského.
- IBLER, R. (Hrsg.) (2000): *Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen*. Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18. – 20. März 1997. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen, Bd 5, herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler. Frankfurt am Main, – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Wien: Peter Lang Verlag.
- KJETSAA, G. et al. (1984): *The Authorship of The Quiet Don*. Slavic Norvegica. Oslo: Solum Forlag.
- KJETSAA, G. (1971): Tschechows Novellenkunst. Versuch einer Analyse der Erzählung Die Dame mit dem Hündchen. *Čs. rusistika* 1971, č. 2, s. 60–68.
- MIKULÁŠEK, A. (2000): *Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století*. Praha: Votobia.
- MIKULÁŠEK, A., GLOSÍKOVÁ, V., SCHULZ, A. B. a kol. (1998): *Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století*. Praha: Votobia.
- MIKULÁŠEK, A., ŠVÁBOVÁ, J., SCHULZ, A. B. a kol. (2002): *Literatura s hvězdou Davidovou 2. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století*. Praha: Votobia.
- POSPÍŠIL, I. (1998): *Genologie a proměny literatury*. Brno: Masarykova univerzita.
- POSPÍŠIL, I. (2016): Kvázimemoáry jako mentální signál (české a slovenské příklady). In: Ivo Pospíšil (ed.): *Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech*. Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU, Slavistickou společností Franka Wollmana, Středoevropským centrem slovanských studií a ve spolupráci a s finanční podporou Literárního informačního centra v Bratislavě, Jan Sojnek – Galium, s. 169–178.
- POSPÍŠIL, I. (1986): *Labyrint kroniky. Pokus o teoretické vymezení žánru*. Brno: Blok.
- POSPÍŠIL, I. (2004): *Metoda Jurije Družnikova (Юрий Дружников: Книги и судьба. Рекомендательный библиографический указатель. Ульяновская областная библиотека для детей и юношества. Библиографический отдел. Ульяновск 2002. Юрий Дружников: Узник России. По следам неизвестного Пушкина. Роман-исследование. Трилогия. «Голос-Пресс», Москва 2003). Slavica Litteraria, X 7, 2004, s. 156–157.*

- POSPÍŠIL, I. (2001): O českém antisemitismu racionálně a precizně. *KAM-příloha*, č. 4, s. XX.
- POSPÍŠIL, I. (2009): Ponorná řeka memoárů na rozcestí. In: Libor Pavera a kol.: *Metamorfózy gatunków w kontekście środkoeuropejskim. Żánrowé metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. IV*. Praha – Bielsko-Biala: Verbum s. 233–244.
- POSPÍŠIL, I. (2016): Правда и ложь мемуаров. In: *Prawda i kłamstwo. Problematyka. Interpretacje. Konteksty*. Redakcja tomu Danuta Szymonik, Walentyna Krupowies. *Conversatoria Litteraria*, tom 10. Międzynarodowy Rocznik Naukowy. Siedlce – Bańska Bystrzyca 2016, s. 21–35.
- POSPÍŠIL, I. (1983): *Ruská románová kronika (Příspěvek k historii a teorii žánru)*. Brno: Univerzita J.E. Purkyně.
- POSPÍŠIL, I. (2000): *The Cycle as the Undercurrent in the Development of the 19th-Century Russian Novel*. In: Reinhard Ibler (Hrsg.): *Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18. – 20. März 1997. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen, Bd. 5*, herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler. Frankfurt am Main, – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Wien: Peter Lang Verlag, s. 419–424.
- POSPÍŠIL, I. (2015): Hledání „velkého času“ Michaila Bachtina (Виталий Л. Махлин: Большое время: Подступы к мышлению М. М. Бахтина. *Opuscula Slavica Sedlcensia*, tom VIII. Redakcja tomu Roman Mnich i Roman Bobryk. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2015). *Novaja rusistika* 2015, č. 2, s. 76–81.
- SOLŽENICYN, A. I. (2004–2005): *Dvě stě let pospolu I. (1795–1916), II. (1917–1995)*. Praha: Academia.

PROFÍL AUTORA:

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.,
slavista, rusista a bohemista, literární vědec, kritik, historik a teoretik, komparatista a genolog; zabývá se mimo jiné ruskou literaturou a jinými slovanskými literaturami, dějinami slavistiky a literárněvědnou metodologií.

Ústav slavistiky
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika

<https://slavistika.phil.muni.cz/>
Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА РУДАКОВА

Россия, Магнитогорск

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ЛИРИКЕ Е. А. БОРАТЫНСКОГО

ABSTRACT:

The image of woman in E. A. Boratynsky's poetry

The article considers the identity of the embodiment of female portraits in the poems of E. Boratynsky. Similarly to the founders of Russian Romanticism V. Zhukovsky and K. Batyushkov, Boratynsky portrays women primarily in love relations with men, but, in contrast to his predecessors, he shows them from different angles. Lack of awareness, unpredictability and beauty are the main gender differences between women and men in Boratynsky's poetic world. The paper analyzed five main types of women identified in Boratynsky's poetry.

KEY WORDS:

E. Boratynsky – landmark poetic image – incognizable – image of the woman – typology of female images.

Один из знаковых поэтических образов в лирике поэта-романтика Е. А. Боратынского – женщина. Появляется она чаще всего в произведениях двух тематических блоков – интимной лирике и стихотворениях, посвященных поэзии. Для Боратынского женщина – загадочное существо, до конца в психологическом и ментальном плане не познаваемое, в её душе, как видит и ощущает это поэт, странным образом уживаются совершенно несовместимые устремления и желания:

Вчера задумчива, я помню, ты была.
Сегодня ветрена, забавна, весела.
Понятна сердцу ты, уму непостижима.
Не все ль противности в характере твоём?
В тебе чувствительность с холодностью совместна,
Непостоянна ты во всем,
И постоянно ты прелестна [Баратынский 1989: 59].

Своеобразным гендерным отличием женщины от мужчины в поэтическом мире Баратынского является красота, она неизменна в описании героинь:

Любуюсь вами, как цветком,
И счастлив тем, что вы прекрасны [Баратынский 1989: 120].

Если же красота характеризует мужчину, то данное свойство резко выделяет его на общем фоне, делая его фигурой исключительной, но вызывает такой мужчина у окружающих скорее недоумение, чем восхищение, а возможно, и осуждение. Подобное описано в стихотворении «Алкивиад», где в центре – образ античного полководца, вызывавшего и у современников, и у последующих поколений неоднозначные оценки (см. об этом, например: [Ботвинник, Рабинович 1993: 91–106]; [Суриков 2002: 5–8]):

Дланью слегка приподняв кудри златые чела,
Юный красавец сидел, горделиво-задумчив, и, смехом
Горьким смеясь, на него мужи казали перстом;
Девы, тайно любуясь челом благородно-открытым,
Нехотя взор отводя, хмурили брови свои [Баратынский 1989: 184].

Однако, говоря о красоте женщин, поэт заставляет читателя понять, что она, увь, недолговечна, время-старость постепенно лишает женщину этого, казалось бы, неизменного ее атрибута. Но находятся среди них те, кто в этом противостоянии способен одержать победу, что, безусловно, вызывает у поэта и его лирического героя восторг и даже уважение. Подобным образом представлена женщина в юношеском мадригале 1818 г., опубликованном в сборнике 1827 года [Баратынский 1827: 93] под выразительным оценочным заголовком «Женщине пожилой, но всё ещё прекрасной»:

Взгляните: свежестью молодой
И в осень лет она пленяет,
И у нее летун седой
Ланитных роз не похищает [Баратынский 1989: 55].

Но чем старше становится поэт, тем острее он понимает: женщина неизменно связана с красотой тогда, когда она молода, однако чем больше дистанция между ней и молодостью, тем иллюзорней становится ее связь с красотой:

Всегда и в пурпуре и в злате,
В красе негаснущих страстей,
Ты не вздыхаешь об утрате
Какой-то младости твоей.
И юных граций ты прелестней!
И твой закат пышней, чем день!
Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень! [Баратынский 1989: 195]

Как видим, в стихотворении «Всегда и в пурпуре и в злате» (1840) отношение к женщине очень сложное – здесь передано и восхищение (ведь кажется, что женщине удалось переиграть время, одержать в поединке с ним победу, о чем говорит строка: «В красе негаснувших страстей»), и ирония (поэт заставляет своего читателя почувствовать, что победа героини над временем – скорее её субъективное ощущение, не соответствующее реальности, неслучайно «пурпур» и «злато» соотнесены в контексте произведения с образом тени, символизирующей отблеск бывшего величия, бывлой красоты).

Еще ярче ситуация конфликта красоты о старости в истории женщины представлена в стихотворении «Филида с каждою зимою» (1838). Двойное имянаречение героини этого стихотворения указывает на неоднозначность её образа. Кажется, что подобно тому, как изображает Боратынский женщину в произведениях «Новинское» и «Всегда и в пурпуре и в злате», представлена она и этом стихотворении: женская красота возвышается, сама героиня будто бы становится богоподобной (на что указывает одно из её имен – Афродита, известная как богиня красоты и юности). Поэт ощущает мощь, исходящую от женщины, обладающей такой внешностью. Однако героиня показана в этом произведении и в другом ракурсе, она предстает перед читателями как земной смертный человек. Имя Филида вызывает в сознании образованного человека образ героини древнегреческого мифа Филлиды [Мифы народов мира 1992: 562], фракийской царевны, по одним преданиям покончившей с собой, когда после отлучки так и не вернулся домой её жених Демофонт, по другим – умершей от горя, потому что так и не дождалась возвращения любимого жениха.

На примере Филиды Боратынский показывает, что в земном мире всё, в том числе и женская красота, преходяще, обречено на смерть.

В данном тексте Боратынский в размышлении о женщине, о её образе сводит воедино, казалось бы, несоединимое – вечность, бессмертие и конечность, обреченность на смерть. По мнению Е. Н. Лебедева, в этом стихотворении «то, что раньше воспринималось им (поэтом. – С. Р.) с энтузиазмом как победа над временем (ср.: «Всегда и в пурпуре и в злате...»), теперь он отчужденно квалифицирует как безумное кокетство со смертью» [Лебедев 1985: 154].

Текст стихотворения «Филида с каждою зимою» разделен на две строфы, хотя состоит всего из восьми стихов. Первая часть может быть воспринята как своего рода антологическая эпиграмма, правда, объектом её становится современный Боратынскому человек. Речь идет о дочери М. И. Кутузова Елизавете Михайловне Хитрово (1783–1839) (об этом, например, пишет Л. Г. Фризман [Фризман 1982: 645]). Едкость сатиры, остро ощущаемая в этой части стихотворения, определяется реальной картиной, что могли лицезреть современники Боратынского: несмотря на свой немолодой возраст, она продолжала одеваться и вести себя так, как будто она по-прежнему молода, свежа, прекрасна. Подтверждения тому находим в мемуарах людей этого времени, например, граф В. А. Сологуб в своих «Воспоминаниях» воссоздал такую картину: «У Елизаветы Михайловны были знаменитые своей красотой плечи; она по моде того времени часто их показывала и даже слишком их показывала» [Сологуб 1887: 113]. Потому в описании героини стихотворения Боратынского сталкиваются абсолютно несовместимые по смыслу словесные конструкции (с одной стороны, «нагота», а с другой – «старушечьи плечи», «зима», «пугает»):

Филида с каждою зимою,

Зимою новою своей,

Пугает большей наготою

Своих старушечьих плечей [Баратынский 1989: 191–192].

Во второй строфе звучит совсем иная мысль, доминирует иное настроение. Центральный образ этой части – по-прежнему образ пожилой женщины, но она описана в ином ракурсе. Её частная судьба обобщается, становясь символом трагедии стареющей красоты, даже на закате не теряющей великолепия, но осознающей неминуемое приближение к своему концу. Поэтому в текст автор вводит диалогически-оппозиционные словесные конструкции: «Афродита», но «гробовая», «риза» – «одр

последний», создавая уже не сатирический, а величественный трагический образ:

И, Афродита гробовая,
Подходит, словно к ложу сна,
За ризой ризу опуская,
К одру последнему она [Баратынский 1989: 190].

В лирическом мире Боратынского можно выделить пять основных типов женских образов. Типология женских образов во многом определяется тем, какие чувства они вызывают у мужчин (следует сразу отметить тот факт, что в поэтическом мире не описаны женщины, которые оставляют мужчин абсолютно равнодушными, общение с каждой из них рождает в мужчине какие-то эмоции).

Первый тип – красавицы, пробуждающие в мужчинах любовь-страсть, чей огонь выжигает душу, лишает покоя. Эти героини играют чувствами мужчин, подчиняя себе их волю. Подобный образ женщины представлен, например, в стихотворении «О своенравная София» (1823):

Опасны сердцу ваши взоры;
Они лукавы, я слышал,
И, всё предвидя осторожно,
От власти их, когда возможно,
Спасти рассудок я желал.
Я в нем теперь едва ли волен,
И часто, пасмурный душой
За то я вами недоволен,
Что недоволен сам собой. [Баратынский 1989: 106].

Подобный же типаж представлен и в стихотворении «Делии», героиня этого произведения подчиняла своим чарам поклонников, «полуиссохших в страсти жадной» [Баратынский 1989: 95], играла их чувствами, наблюдая за ними «с улыбкой хладной». На примере данной героини Боратынский показывает жизненную драму подобных женщин: красота, которой она обладала, которая для нее была своеобразным оружием и с ее помощью она подчиняла своей воле мужчин, в зрелом возрасте исчезла, лишив героиню и силы, и будущего, героиня оказывается в ловушке, став вечной страдальницей, неспособной обрести «покоя, поздних лет отрады» [Баратынский 1989: 96].

Второй тип женщин – это ветреная красавица, обманщица, которая играет чувствами мужчин, но руководствуется при этом прежде всего светскими условностями, в основе которых, по мнению Боратынского, – возведенная в культ ложь. Подобный образ представлен, например, в стихотворениях «Когда неопытен я был» (1820, 1821), «Размолвка» (1823, 1826), «Падение листьев» (1823, 1826) и др.:

Мне о любви твердила ты шутя
И холодно сознаться можешь в этом. <...>
Легко решить: любимым не был я;
Ты, может быть, была любима мною [Баратынский 1989: 101];
Я трепетал в тоске желанья
У ног волшебниц молодых,
Но тщетно взор во взорах их
Искал ответа и узнанья! [Баратынский 1989: 75]

Жестокость этих женщин, как показывает поэт, идет не от сердца, она определяется влиянием общества.

К третьему типу можно отнести женщин, рождающих в сердцах мужчин любовь и самих в них влюбляющихся. Подобные образы появляются в эротических стихотворениях Боратынского, за которые друзья его в шутку прозвали «милый Парни» (подробнее об этом см. [Рудакова 2015: 55]), а в частности А. С. Пушкин в письме П. А. Вяземскому от 2 января 1822 г., размышляя именно о подобных произведениях своего друга, писал: «Оставим все ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет» [Пушкин 1979: 29]. Описанные в этих стихах Боратынского героини – обычные милые земные девушки, пробуждающие в мужчине чувственный восторг, желание насладиться земными радостями:

И Лила спит еще; любовью горят
Младые свежие ланиты,
И, мнится, поцелуй сквозь тонкий сон манят
Ее уста полуоткрыты [Баратынский 1989: 69];
Люблю с красоткой записной
На ложе неги и забвенья
По воле шалости молодой
Разнообразить наслажденья [Баратынский 1989: 207].

Четвертый тип представляют женщины, снедаемые собственными страстями. Образ подобной женщины показан, к примеру, в стихотворении «Как много ты в немного дней...» (1824–1825):

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты! [Баратынский 1989: 125]

Принять жизненные установки такой героини автор не готов, однако остаться к ней равнодушным он также не может, испытывая к ней жалость и видя в ней жертву судьбы, рабу «томительной мечты» [Баратынский 1989: 125]. В такой женщине, как ощущает поэт и показывает через ряд выразительных художественных средств, истинно женские качества (противоречивость, загадочность) проявляются ярко и неординарно. Поэт сравнивает ее, с одной стороны, с Магдалиной (библейской героиней, ассоциирующейся в сознании читателя с грешницей, раскаявшейся и выбравшей путь духовного очищения и приобщения к божественному святому миру), а с другой стороны, с русалкой, олицетворяющей нечто, связанное с древним архаическим мистическим миром, пугающим человека и недоступным его пониманию.

К пятому типу можно отнести женщин, способных вызвать у мужчины идеальное чувство – любовь, основанную не на страсти, не на обмане, а на духовной близости, способную преобразить душу мужчины, удовлетворить высокие её потребности:

В ней благо лучшее дано богами нам
И нужд живейших утоленье!
Как будет сладко, милый мой,
Поверить нежности чувствительной подруги —
Скажу ль? — все раны, все недуги,
Всё расслабление души твоей больно [Баратынский 1989: 74].

Общение с такой женщиной открывает для мужчины истинные ценности, заставляет понять, что важнее всего для него не жизнь внешняя, а жизнь внутренняя, именно такая женщина дарует мужчине подлинную гармонию. Подобная женщина – «услада для души», находясь рядом с ней, мужчина ощущает одно желание:

Забыв и свет, и рок суровый
Желанья смутные в одно желанье слить
И на устах ее, в ее дыханье пить
Целебный воздух жизни новой! [Баратынский 1989: 74–75].

Такие героини описаны Боратынским в стихотворениях «Звезда» (1824, 1826), «Она» (1827).

Каждый из перечисленных женских типажей довольно выразительно, с привлечением различных художественных и лексических средств описан Боратынским в его лирике.

Однако чаще всего представлены в его поэтическом мире героини двух типов – роковые красавицы и девушки с ангельской душой. Первые, обладая почти демонической красотой, заставляют мужчин забыть о привычном мире и стать чуть ли не их рабами. В описании этих героинь в лирике Боратынского доминируют эпитеты «черный», «темный», лексема «тьма». Одной из ярких деталей портрета таких красавиц становятся их черные глаза. Этот цвет, используемый поэтом для характеристики очей, заставляет читателя понять: сущность этих женщин враждебна для мужчин, смотрящий на такую красавицу ощущает силу – враждебную, недобрую, пугающую, подавляющую его волю, которой часто он не в силах противостоять:

Страшна мне, друзья мои,
Краса черноокая;
<...> Любовник пылает к ней
Любовью тревожною
И взорам двусмысленным
Не смеет довериться [Баратынский 1989: 156].

В подобной трактовке черного цвета, проявляющейся в описании внешности человека, как цвета враждебного, недоброго [Энциклопедия символов 2001: 531–533], Боратынский, с одной стороны, следует сложившимся еще в древнерусской литературе традициям, так как с «первых памятников славянской письменности за словом “черный” закрепилось именно это значение как основное» [Кузнецова 1988: 224], а с другой – идет по пути романтиков, активно использующих смысловой потенциал черного цвета в своих произведениях. В культуре востока черный цвет, появляющийся в описании глаз, рождал в сознании читателей образ девушки, в которую влюблен тот, кто так ее представлял, «черный» в таком контексте соотносился с чем-то сокровенным,

страстным, желанным. Боратынский сохранил это значение, но привнес иную оценочность: на смену позитивной характеристике пришла негативная.

Черноокая женщина, как показывает это Боратынский, своей красотой вносит в мир мужчины хаос и разрушение, погружая душу того, кто ею увлекся, в пучину темных страстей. Поэт подчеркивает демонизм такой женщины не только отсутствием потребности приблизиться к Всевышнему, но и странной, необъяснимой, почти физически ощущаемой связью с миром лукавого, недоброго духа:

Какой-то недобрый дух

Качал колыбель ее [Баратынский 1989: 156].

Черный мыслится поэтом закрытым, будто бы отгороженным от других цветов. Потому черноокие красавицы, обладающие магнетическим обаянием, в свой мир никого не впускают:

За темной завесою

Душа ее кроется [Баратынский 1989: 156].

Размышляя о подобных представительницах женского мира, Боратынский приходит к выводу – они замкнуты на самих себе, их никто, да и ничто, кроме собственных желаний и страстей, не волнует. Тот, кто в них влюбляется, лишается душевного покоя, его уделом становится тревожное ожидание какой-то беды. Женщины этого типа в изображении Боратынского воспринимают мужчин не иначе как тех, кто обязан им служить, полностью подчиняться их воле, выполнять их прихоти. Как показывает поэт, мужчины добровольно подобную участь не выбирают, но очарованные красотой таких женщин, попадают под их магнетическое влияние и оказываются в их коварных сетях, утрачивая собственную волю.

Женщины иного типа (нами он определен как пятый тип) противоположны чернооким красавицам во многом. Поэт в качестве основного инструментария их характеристики также задействует лексические средства, обозначающие цвет. Глаза женщин, которых идеализирует Боратынский, лазоревых цвета, душа их чиста, как божественные небеса, не случайно в их описании появляется выразительная метафора:

Люблю я красавицу

С очами лазурными:

О! в них не обманчиво

Душа ее светится! [Баратынский 1989: 156].

Идеальность героини проявляется в ее неспособности к обману. Лазурный цвет, использованный Боратынским, обладает особой положительной семантикой. Как было отмечено Василевичем: «Первоначально функцию обозначения голубого цвета в русском языке выполняли слова лазоревый, лазурный. Характерно, что при описании синего цвета в предметах, имеющих явно “положительный заряд”, использовалось именно слово лазоревый» [Василевич 2007: 20].

Глаза такого – лазоревого – цвета подобны осколкам возвышенных небес, потому и сама красавица воспринимается лирическим героем поэта как существо почти божественное, вызывающее к себе колени-преклоненное отношение. Такая женщина – носитель гармонии, проводник её из мира божественного в мир земной, сама она оказывается подобна эфиру:

И кто не доверится
Сиянью их чистому,
Эфирной их прелести,
Небесной души ее
Небесному знаменью? [Баратынский 1989: 156].

Мужчины рядом с такими женщинами ощущают восторг и перед ними, и перед самой жизнью. Однако в отличие от красавиц с темными глазами, героини с лазоревыми глазами не лишают человека воли, а дарят мужчине, который им дорог, свою нежность, заботу, душевный покой, желая гармонизировать его отношения с собой и с миром.

Как показано в лирике Боратынского, та женщина идеальна, которая способна очаровать не внешней, но внутренней красотой. Именно такая женщина находит в душе лирического героя поэта отклик. В описании таких женщин Боратынский использует и такие цвета, как голубой и синий, соотносимые с миром небесным, божественным (так, например, в античности синий цвет был неизменной краской в изображении Бога-громовержца Зевса (Юпитера) и его супруги Геры (Юноны) [Энциклопедия символов 2001: 513]. Специфика синего цвета (весь возможный спектр смысловых значений этого цвета, сформировавшийся в европейской культуре) привлекла внимание И. Гете, свои наблюдения и обобщения он отразил в своей работе по хроматике: «В своей чистоте синий цвет представляет собой как бы волнуемое нечто. В нем совмещается какое-то противоречие возбуждения и покоя, <...> синяя поверхность кажется как бы уходящей от нас. Синий цвет влечет нас за собой <...>. Синий вызывает чувство холода» [Гете 1957: 315].

Кроме того, стоит учитывать и тот факт, что голубой цвет полюбился культуре XVIII века, часто использовался в пасторальном искусстве – и в поэзии, и в живописи, где символизировал нечто чистое, возвышенное, притягательное. Боратынский, описывая идеальную женщину, вносит в ее портрет именно эти краски, учитывая данные значения голубого, лазоревого и синего цвета. Более того, женщина-идеал сравнивается Боратынским со звездой, что «Горит, блестит кругом луны / На небе голубом» [Баратынский 1989: 121]. Боратынский в использовании голубого цвета максимально реализует скрытый в нем смысловой потенциал, подчеркивая внутреннюю глубинную связь этого цвета с миром духовности, божественной возвышенности (поэт как будто бы воссоздает триаду: голубой – небесный – божественный). О подобной семантике голубого цвета в начале XX века размышлял П. Флоренский, связывая свои представления об этом цвете со своими религиозными взглядами: «... голубое есть знак самоотверженности и желания приносить себя в жертву за всех» [Флоренский 1990: 569].

В понимании зрелого Боратынского идеальная женщина, кажется, освобождается от телесности, она как будто устремляется к сакральному миру, отдаляясь от обыденного, мелочного, поэт уподобляет такую женщину звезде, точнее – свету звезды. Поэт заставляет читателя поверить, что идеальная женщина способна одним своим появлением в жизни мужчины рассеять «мрак ночи»:

С нее в лазоревую ночь
Не сводим мы очес,
И провожаем мы ее
На небо и с небес [Баратынский 1989: 121].

Женщина-ангел видится поэту возвышенным существом, к которому устремлена душа мужчины, рядом с ней он ощущает себя во власти счастья и тогда, когда думает о будущем, и тогда, когда вспоминает прошлое:

Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечет очарованье
К ее ногам и под защиту к ней [Баратынский 1989: 135].

Такая женщина пробуждает в мужчине то лучшее, что есть в нем, о чем он сам, возможно, до встречи с ней и не догадывался:

<...> Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами – с душой;

<...> Не мыслишь ты — и только лишь прекрасной
Присутствием душа твоя полна [Баратынский 1989: 135].

Идеальная женщина потому сравнивается Боратынским со светом далекой, но ясной звезды, что она становится для мужчины своего рода ориентиром, маяком, освещая его жизненный путь, давая ему возможность найти смысл жизни, именно такая женщина, по мысли поэта, и может стать для мужчины верной спутницей жизни. И задача мужчины — не ошибиться, среди множества женщин-звезд выбрать свою, единственную, кто и сделает его счастливым:

Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит,
И взору шлет ответный взор,
И нежностью горит [Баратынский 1989: 121].

В поэтическом мире Боратынского, как нами выявлено, представлено три основных типа любви (если говорить об отношениях мужчины и женщины). Первый тип — это любовь-страсть. Как показывает Боратынский, такое чувство ослепляет разум человека, лишая его духовного, да и физического покоя. Однако такая любовь, в понимании поэта, может позволить человеку хотя бы на время забыть о суетном мире, выпасть из пространства будней и ощутить, пусть и на миг, желанное блаженство. Двойственность подобного чувства в восприятии влюбленного характеризуется оксюмороном «отрава сладкая» [Баратынский 1989: 112]. «Огонь» этого чувства увлекает человека, как бабочку на свет, но потом «выжигает» его душу, оставляя после себя лишь пустоту. Соответствующий тип отношений женщины и мужчины описан, например, в таких стихотворениях, как «О своенравная София» (1823), «Любовь» (1824).

Второй тип любви мужчины и женщины, описанный в произведениях Боратынского, во многом обусловлен влиянием на влюбленных светского общества. В светском мире, как показывает поэт, формируется особый характер отношений, связующим началом которых оказывается не доверие, даже не страсть, а обман (прямой или опосредованный). Ложь, становящаяся фундаментом подобных межличностных отношений, рождается вследствие того, что люди в своей жизни руководствуются прежде всего светскими условностями, которые оказываются своего рода диктаторами, определяющими принципы взаимодействия всех со всеми и всем. Такого рода любовные отношения изображены в стихотворении Боратынского «Падение листьев» (1823; 1826). Из истории, представленной в этом произведении, мы узнаем о молодом человеке,

который умирает, но уходит из жизни с верой, что любил и был любим. Однако для его возлюбленной, как выясняется позже, связь с ним была лишь легким увлечением, продиктованным модными тенденциями; потому, как только любовник выпадает из круга её общения, она тут же забывает и о нем, и о чувствах, что он проявлял к ней.

Этот же тип отношений, но в ином ракурсе, представлен в стихотворении «Размолвка» (1823; 1826). Описывая отношения его и ее, Боратынский сразу дает читателю понять: оба изображенных им героя лишь играют в любовь, живя по правилам света. Увы, но только у героя появляется потребность осознать обстоятельства, в которых находится он и она, он оказывается способен увидеть ситуацию со стороны, что заставляет его прийти к неутешительному для себя выводу: «Легко решить: любимым не был я; / Ты, может быть, была любима мною» [Баратынский 1989: 101].

В посвящении шуточного характера «В альбом» (1822) Боратынский описывает некий алгоритм, якобы, следуя ему, человек может влюбиться в другого. Но знание и его практическое воплощение – это разные сферы жизни (тем более, когда идет речь о чувствах). Герой, наблюдая за девушкой, находится в странном состоянии – «любви – еще нелюбви», и в какой-то момент времени осознает, что все его попытки добиться взаимности обречены на неудачу, так как та, о ком он думает, отнюдь не собирается открывать свою душу и впускать кого-то в свой мир, для неё светские игры и своего рода маскарадность важнее сердечного участия. Именно потому герой (зная алгоритм обретения любви) принимает осознанное решение отказаться от попыток добиться взаимности, обрести счастье любви, правда, объясняет свой шаг он и вмешательством некой высшей тайной силы:

Предаться нежному участию

Мне тайный голос не велит...

И удивление, по счастью,

От стрел любви меня хранит» [Баратынский 1989: 209].

Третий тип любви женщины и мужчины в лирическом мире Боратынского связан с идеальным чувством (в основе его не огонь страсти, не следование условностям светского мира, а духовная близость), впервые описанным в послании к Коншину «Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам» (1820), где истинная любовь противопоставлена чувственной. Последняя для лирического героя однообразна, он характеризует ее не иначе, как «забаву легкую, минутное забвенье», как «слепую жажду сладострастья» [Баратынский 1989: 74], которая не возвышает,

а привязывает человека к земному, суетному. В подлинной же любви, по мнению героя Боратынского, «благо лучшее дано богами нам / И нужд живейших утолень» [Баратынский 1989: 74]. Именно в таких любовных отношениях общение с любящей его женщиной влюбленному в неё мужчине дарует возможность познать истинные жизненные ценности, осознать, что ориентироваться в своих устремлениях стоит прежде всего не на внешнюю, а на внутреннюю жизнь, как следствие, любовный союз с такой женщиной приобщает мужчину к миру настоящей гармонии: «Не упоения, а счастья / Искать для сердца должно нам» [Баратынский 1989: 87]. А потому возлюбленная его – нежная, чуткая подруга, воспринимаемая им как ангел, обладающий животворной силой – вызывает одно самое сильное желание: «на устах ее, в ее дыханье пить / Целебный воздух жизни новой» [Баратынский 1989: 74–75].

Для лирического героя мечта о таком чувстве перерастет в жизненно важную потребность найти любовь надежную, подругу нежную «С кем мог бы в счастливой глуши / Предаться неге безмятежной / И чистым радостям души; / В чье неизменное участие / Беспечно веровал бы я» [Баратынский 1989: 87].

Стихотворения «Звезда» (1824) и «Она» (1827) являют собой поэтическое воплощение воззрений художника на идеальную любовь, при этом представления поэта реализуются в символической форме: возлюбленная сравнивается поэтом со светом далекой звезды. Она воспринимается как объект чуть ли не религиозного обожания (в этом явно просматривается влияние русской романтической традиции, берущей начало в творчестве В. А. Жуковского), наполняющий жизнь человека смыслом, светом, счастьем.

Чувства, которые испытывает лирический герой Е. А. Боратынского к женщине, оказываются пульсирующе неровными: от робкой влюбленности – к страсти, от любви – к нелюбви, от чувственной любви – к духовной. Любовь предстает у поэта явлением очень противоречивым, ассоциирующимся с различными состояниями, выявляющими сложность не только героя-мужчины (являющегося главным субъектом лирики Боратынского), но и героини, его возлюбленной. Женский образ лишен однозначности, он вписывается в разные жизненные, мифологические, философские размышления поэта-романтика. Выявляется и то, что в поэтическом мире Боратынского на взаимоотношение полов оказывает свое влияние не только и не столько то, что обусловлено гендерным притяжением или различием женщины и мужчины, но и то, что обусловлено воздействием общества, бытия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- БАРАТЫНСКИЙ, Е. А. (1989): *Полное собрание стихотворений*. Ленинград: Сов. писатель.
- БАРАТЫНСКИЙ, Е. (1827): *Стихотворения Евгения Баратынского*. Москва: В типографии Августа Семена, при императорской медико-хирургической академии.
- БОТВИННИК, М. Н., РАБИНОВИЧ, М. Б. (1993): *Знаменитые греки и римляне: 35 биографий выдающихся деятелей Греции и Рима*. Санкт-Петербург: Индивидуальное частное предприятие Кузнецова «Издательство «Эпоха».
- ВАСИЛЕВИЧ, А. П. (2007) Этимология цветоименований как зеркало национально-культурного сознания. In: *Наименования цвета в индоевропейских языках: Системный и исторический анализ*. Москва: Ком Книга, с. 9–28.
- ГЕТЕ, И.-В. (1957): К изучению цвета. Хроматика. In: Гете И.-В. *Избранные сочинения по естествознанию*. Москва, Ленинград: Академия наук, СССР, с. 261–342.
- КУЗНЕЦОВА, И. С. (1988): *История переносных употреблений цветообозначений в памятниках русской письменности XVII–XVIII вв.*: диссертация кандидата филологических наук. Москва.
- ЛЕБЕДЕВ, Е. Н. (1985): *Тризна. Книга о Е. А. Боратынском*. Москва: Современник.
- Мифы народов мира* (1992). Энциклопедия: в 2 т. Москва: Сов. энциклопедия. Т.2.
- ПУШКИН, А. С. (1979): *Полное собрание сочинений*: в 10 т. Ленинград: Наука. Т.10.
- РУДАКОВА, С. В. (2015): К. Н. Батюшков и Е. А. Боратынский: «Диалоги» с Парни. *Libri Magistri*, № 2, с. 50–59.
- СОЛОГУБ, В. А. (1887): *Воспоминания графа Владимира Александровича Сологуба*. Санкт-Петербург: Издательство А. С. Суворина.
- СУРИКОВ, И. Е. (2002): Ксенические связи в дипломатии Алкивиада. *Античный мир и археология*. Саратов, вып. 11, с. 4–13.
- ФЛОРЕНСКИЙ, П. А. (1990): Бирюзовое окружение Софии и символика голубого и синего цвета. In: Флоренский П. А. *Столп и утверждение истины*. Т.1. Москва: Правда, с. 552–576.
- ФРИЗМАН, Л. Г. (1982): Примечания. In: Баратынский Е. А. *Стихотворения. Поэмы*. Москва: Наука, с. 573–685.
- Энциклопедия символов, знаков, эмблем* (2001). Москва: Астрель; Аст.

ПРОФИЛЬ АВТОРА:

Рудакова Светлана Викторовна – доктор филологических наук, профессор кафедры языкознания и литературоведения института гуманитарного образования, читает курсы «История отечественной литературы», «Филологический анализ», «Дописьменная словесность», «Литературное редактирование».

Сфера научных интересов: поэтика русской лирики, русская литература XVIII и XIX веков, поэтические жанры, мифопоэтика.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова
Россия

Магнитогорск 455000

Ленина, 38

<https://www.magtu.ru>

rudakovamasu@mail.ru

Ondřej Bláha: *Jazyky střední Evropy*. Univerzita Palackého, Olomouc, 2015, 238 s., ISBN: 978-80-244-4910-4.

Knížka, která by neměla zapadnout

PhDr. Ondřej Bláha, PhD., se v lingvistických kruzích etabloval především jako renomovaný badatel v široce pojaté oblasti výzkumu českého jazyka (srov. např. jeho publikace *Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům)*. Olomouc 2008. 204 s., *Funkční stratifikace češtiny*. Olomouc 2009. 84 s. či *Poznámky k morfologickému vývoji češtiny*. Olomouc 2016. 143 s.). Příspěvkem ke slavistickému bádání je autorova monografie *Jazyky střední Evropy*. Jako neprodejná publikace je kniha v nevýhodě, její cesta k odborné veřejnosti je složitější, proto i v delším časovém odstupu od vydání považujeme za užitečné na ni znovu upozornit.

Řečeno s autorem, cílem knihy je „uvést fakta o konvergentním vývoji jazyků střední Evropy do vzájemných souvislostí – zejm. do souvislostí dějinných“. (s. 11) Kritériem pro klasifikaci jazyků zde tedy není obvyklý genetický nebo typologický princip, nýbrž hledisko kulturněhistorické a areálové, což s sebou přináší mnohé výhody (srov. první kapitolu Střední Evropa jako areál).

Z hlediska dějin kultury vymezuje autor střední Evropu jako „oblast, ve které na počátku období dějin, dokumentovaného písemnými prameny (tj. asi kolem r. 1000), ještě dominovala různá slovanská etnika (Obodrité, Veleti, Srbové, Polané, Češi, Moravané aj.), ale do které právě v uvedené době začala úspěšně expandovat etnika germánská. Ve střední Evropě tak vznikl slovansko-germánský amalgám (obohacený ugrofinským adstrátem), který má i své antropologické a genetické konsekvence.“ (s. 13) Jako relevantní kulturněhistorická kritéria uvádí mj. konfesijní labilitu, lingvocentrismus, přítomnost Židů, některá právní fakta ad. Vnitřně odlišný kulturní ráz stře-doevropského areálu vede autora k nutnosti rozdělit toto území pro účely popisu jazyků na dva navzájem těsně spjaté subareály – sudetský a panonský.

Na základě výsledků výzkumu exaktních i neexaktních věd a vzájemných intenzivních kontaktů a průniků mezi jednotlivými středoevropskými etniky zařazuje O. Bláha do svého přehledu němčinu jako jazyk germánský, maďarštinu jako jazyk ugrofinský, všechny jazyky západoslovanské a z jihoslovanských pak slovinštinu a chorvatštinu. Jejich společné charakteristické vlastnosti shrnuje, s konstatováním existence výjimek, do těchto bodů: přízvuk na první slabice (s výjimkou polštiny a východní slovenštiny), kvantitativní korelace vokálů, omezená role diftongů ve fonologickém systému, neredukovaná výslovnost vokálů v nepřízvučných slabikách, spodobá znělosti na konci slova, časté vokalické i konsonantické alternace, silně symetrický charakter (obzvláště ve flexi), silný sklon k prefixaci, nedostatek syntetických forem futura a syntax věty a souvětí „synchronizovaná“ se syntaxí latinskou (srov. kpt. 1.2). Každému jazyku je pak věnována stručná podkapitola uvádějící počet mluvčích, jejich územní rozložení a zásadní lingvistická díla postihující současný stav lexika a gramatiky.

V první kapitole dává autor formou výběru historických skutečností též nahlédnout do kulturněhistorického vývoje pojednávaného území. V pěti dějinných etapách uvádí výčet kulturněhistorických událostí, které vývoj jazyků střední Evropy ovlivnily, od příchodu Slovanů v 6. století až po vstup středoevropských zemí do Evropské unie na počátku 21. století. Kapitulu uzavírá pojednání o povaze a výsledcích kontaktů mezi jazyky, zahrnující mj. i popis čtyř stupňů jazykového kontaktu (kontakt nahodilý, pravidelný, intenzivní a velmi intenzivní) a jeho aplikaci na vztahy mezi jazyky střední Evropy.

Ve druhé, nejobsáhlejší kapitole, nazvané Lexikum jazyků střední Evropy, jsou na bohatém dokladovém materiálu detailně analyzovány a historicky objasňovány vzájemné lexikální přejímky mezi jednotlivými jazyky. V úvodu autor poukazuje na odlišnosti ve slovtvorných způsobech v jazycích střední Evropy podmíněné typologicky. Potvrzuje známá fakta o vyšší produktivnosti derivace ve středoevropských jazycích ve srovnání se silně izolačním charakterem jazyků západní Evropy, což dokládá ilustračním materiálem uváděným důsledně ve všech porovnávaných jazycích, např. angl. *curtain* (= záclona) x něm. *Vorhang*, čes. *záclona*, hluž. *předwěšk*, dluž. *zapowjesk*, slk. *záclony*, pol. *zasłona*, maď. *fűggöny* (<*fűgg* viset), sln. *zavesa*, ch. *zavjesa*. Ve srovnání s angličtinou konstatuje také podstatně nižší zastoupení značkových (nederivovaných a nekomponovaných slov) ve středoevropských jazycích a odlišnost ve využívání slovtvorné kompozice, jež je v němčině a v maďarštině daleko významnější než v porovnávaných slovanských jazycích (např. něm. *Tageszeitung* (< *Tag* – den + *Zeitung* – noviny) a maď. *napilap*

(< *napi* – denní + *lap* – list) kontra čes. *deník*, hluž. *dzenik*, dluž. *ženik*, slk. *denník*, pol. *dziennik*, ch. *dnevnik*, [sln. *dnevni časopis*]).

Slovní zásoba všech současných jazyků střední Evropy se vyznačuje vysokým počtem lexémů domácího původu, i když v míře jejich zastoupení opět nacházíme odlišnosti. Na jednom pólu pomyslného žebříčku stojí maďarština, slovenština a chorvatština s velmi vysokou mírou zastoupení domácích prvků, na opačném pólu figuruje polština, v níž je zastoupení lexémů domácího původu relativně nejnižší. V dalším textu jsou pak tyto skutečnosti objasňovány ve společensko-historických souvislostech.

Jádro druhé kapitoly tvoří s erudovaným nadhledem okomentovaný početný výčet kulturních evropeismů, slavismů a hungarismů ve sledovaných jazycích. Kulturní evropeismy zahrnují v autorově koncepci křesťanskou a nejstarší civilizační terminologii, terminologii spjatou s rytířskou, dvorskou a městskou kulturou, austriacismy a bavarismy, kalky z němčiny a germanismy v jednotlivých slovanských jazycích. Autor se dotýká též fenoménu slezštiny, galicismů a obecných anglicismů v dotčených jazycích. V komentářích k jednotlivým jevům se snaží postihnout ty nejpodstatnější kulturní a historické okolnosti, které popisovaný jazykový vývoj v průběhu staletí ovlivnily.¹

Třetí kapitola, Struktura jazyků střední Evropy, popisuje vzájemné konvergentní vlivy v oblasti morfologie, resp. slovtvorby, syntaxe, morfonologie a fonologie. Jako společné systémové rysy ve slovtvorbě uvádí autor vysoký stupeň syntetičnosti slova ve stupňování (*Doch **der kleinsten** im Reich Gottes ist **größer** als er.* L 7,28) – čes. *ten nejmenší – větší*, slov. *menší – väčší*, pol. *najmniejszy – większy*, maď. *a legkisebb – nagyobb*, sln. *najmanjši – večji*, ch. *najmanji – veći*, proti ruskému *меньше всех – больше*) a silně využívanou možností prefixace, zejména sloves. V syntaxi konstatuje například silné projevy interference v jazykových oblastech, v nichž je rozvinut bilingvismus se silnou dominancí jednoho ze zúčastněných jazyků (např. němčina x obě lužické srbštiny), shodu v základních typech souvětí a v inventáři spojovacích výrazů pod vlivem latiny, tendenci k formalizaci věty a užívání opisného pasiva. V oblasti flexe si autor všímá mj. relativní chudosti inventáře gramatických forem, které vyjadřují časové významy (tříčlenný inventář zahrnující préteritum, prézens a futurum), v oblasti morfonologie upozorňuje na časté alternace podmíněné morfematickým okolím, což je opět projev vysokého

¹ Za určitý pandán k monografii *Jazyky střední Evropy* lze považovat publikaci *Lexikální rusismy v současné češtině*, která vyšla o rok později, tedy v roce 2016. Ondřej Bláha v ní spolu s tehdejšími studenty doktorského a magisterského studia Patrikem Dudkem, Kristinou Heklovou a Kateřinou Horáčkovou zmapoval inventář a fungování lexémů ruského původu v současné češtině.

stupně syntetismu jazyků střední Evropy (*ruka – ruce, ruka – ručka* apod.). Společným rysem fonologických systémů jazyků střední Evropy je pak ustálený přízvuk zpravidla na první slabice, fonologická kvantita vokálů i shody v samotném inventáři fonémů.

Autorův výzkum ústí v poznání, že mechanismus konvergentního ovlivňování jazyků střední Evropy je složitější, než by se na první pohled mohlo soudit. Určující roli v něm hrály dominující latina a němčina, jež byla často prostředníkem při pronikání latinských struktur do menších jazyků cestou kalkování. „Jako evidentní se jeví jen fakt, že uživatelé jazyka, vystaveného vlivu jiného (z různých příčin dominujícího či imponujícího) jazyka, si podle potřeby, tj. na základě své vůle, osvojují některé prvky z vyšších rovin onoho dominujícího jazyka. Takové osvojení se ale přirozeně (tj. jazyka přijímacího) děje jen tehdy, pokud charakter osvojených prvků není v rozporu se systémem jejich vlastního jazyka (tj. jazyka přijímajícího).“ (s. 191) Naopak nižší roviny, jež tvoří kompaktní systémy (flexe, fonologie, morfonologie, syntax věty) se proměňují jen minimálně. Důvody vidí O. Bláha jednak v podmiňujícím vlivu typologické dominanty konkrétního jazyka, jednak v charakteru vztahů mezi jednotlivými jednotkami v těchto rovinách, které jsou téměř vždy neuvědomované, a uživatelé jazyka je nemohou ovlivňovat svou vůlí. (srov. na s. 192) Jako příklad uvádí uchování genitivu záporového ve slovinštině navzdory jeho neexistenci v němčině, již na úrovni bilingvismu ovládala kulturní elita Slovinců, či obsáhlé funkční pole finitních tvarů slovesa v češtině a slovenštině z důvodu jejich systémové vázanosti v těchto jazycích. Rozvoj kategorie vidu měl za následek redukci formálních prostředků kategorie času v češtině, slovenštině, slovinštině, v polštině atd. Autor akcentuje přirozenou determinační roli společenského a kulturního kontextu při formování současné podoby jazyků středoevropského areálu (v jeho pojetí jde o vnitřně nehomogenního území, jež se rozpadá na sudetský a panonský subareál). Neposledním faktorem, který ovlivnil středoevropský jazykový vývoj, je podle autorova přesvědčení vztah konkrétního etnika k vlastnímu spisovnému jazyku.

Početné odkazy na související odborné prameny a úctyhodná bibliografie čítající přes 500 položek jsou dalšími indikátory autorova zodpovědného přístupu a hlubokého proniknutí do sledovaného tématu. Kultivovaný jazyk a vysoká odborná úroveň textu patří k samozřejmým a neodmyslitelným atributům všech autorových prací.

Kniha je navzdory vysoce odbornému obsahu čtenářsky přístupná a otevírá se širokému okruhu potencionálních čtenářů. Předkládá v mnohém jiný pohled na důvěrně známé území a jeho jazyky, může přispět ke vzájemné-

mu pochopení jak jazykového vývoje, tak kultur, inspirovat k zamyšlení nad mnohdy překvapivými vazbami, vlivy a souvislostmi, které jazyky na středoevropském území během jejich mnohasetleté koexistence formovaly, a možná i k úvahám o vývoji budoucím.

Zdeňka Vychodilová

Лариса Кислюк. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси і тенденції розвитку. Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ, 2017, 424 с., ISBN 978-966-489-440-8.

Монографічна праця Л. П. Кислюк присвячена сучасному стану оновлення українського лексикону та ролі у цьому процесі словотворчих ресурсів української мови; виявленню стабільних та динамічних ланок словотвірної системи, які забезпечують стійкість типологічних рис української номінації і водночас уможливають її розвиток з погляду сучасних когнітивних і комунікативних потреб мовців та змін у їхніх мовних смаках. У ній здійснено вдалу спробу дати відповіді на питання, як та які словотворчі ресурси підтримують типологічні риси української номінації в нових суспільно-політичних умовах побутування української мови як державної; якою мірою в умовах євроінтеграції та глобалізації система словотворення «вмикає» механізми мовного «самозахисту»; які соціальні, когнітивні й комунікативні чинники впливають на динаміку словотворчих ресурсів системи української мови в колективній (узус) та індивідуальній (ідіолект) сучасній мовній практиці та яким чином ця мовна практика впливає на словотвірну систему та її норму. У праці простежено вплив новочасної соціодинаміки на мовну динаміку, виявлено фрагменти мовної картини світу сучасного українця, позначені динамічним й оновлювальним поступом. Словотворчі ресурси та словотвірні процеси розглянуто у плані їх внутрішньосистемних взаємодій у синхронно-діахронному вимірі в руслі загальних сучасних тенденцій мовного розвитку. Аналіз спирається на дослідницьки вихідне поняття *тенденції* як складника синхронного підходу до мови, що відображає її динаміку за певний період часу. Водночас у ньому дотримано послідовного розрізнення явищ системи мови та мовної практики як реалізації системи мови в актуальному мовленні. Авторська концепція є чітко окресленою, підтриманою осучасненою метамовою дослідження та належним чином підтвердженою послідовним, надійним і достатньо аргументованим аналізом мовного матеріалу.

Надзвичайно цінним у моделюванні новітнього українського лексикону бачиться підхід до аналізу словотворчих процесів сьогодення в ретроспективі, з урахуванням їх тяглості, починаючи від першої третини минулого століття і до сьогодення, шляхом залучення лексикографічної спадщини й теоретичних праць «українського розстріляного Відродження» періоду «українізації» 20–30-х років ХХ століття, що дало

дослідниці змогу вивчити процеси оновлення словотвору й словотворення доби незалежності з погляду їх просторово-часового виміру та попередніх асимілятивних процесів. Дослідження виконане на матеріалі різностильових текстів з особливою увагою до публіцистичного стилю, найбільш «відкритого» для «живомовної стихії», колективної мовної практики й мовних змін; дослідницького корпусу нової лексики (комп'ютерного фонду лексико-словотвірних інновацій), створеного фахівцями Інституту української мови НАНУ; сучасних неологічних словників; лексикографічних джерел радянської доби та словникарського спадку кінця ХІХ-початку ХХ століття, що дало змогу оприятити питомі й запозичені словотвірні ресурси, у різний спосіб актуалізовані сьогодні у новому «мовному кресленні світу» сучасного українця. До беззаперечних позитивів рецензованої праці належить урахування широкого слов'янського контексту, що посприяло увиразненню оновлювальних явищ, процесів, векторів мовної динаміки, спільних з іншими слов'янськими мовами (наприклад, освоєння нової чужомовної лексики як вияву тенденції інтернаціоналізації), та специфічно українських, що сприяють збереженню й устійненню національних, питомих домінант українського словотвору.

Зосередившись на словотвірних ресурсах мови, які беруть активну участь у процесі творення слів, і на пошуку взаємних впливів та взаємозалежностей системи мови і мовної практики, дослідниця здійснює вдалу спробу простежити спектр можливих ресурсів, що його надає система, та впливи номінаційних запитів суспільства на їх вибір для творення конкурентної номінації й на пріоритет, оновлений «рейтинг» словотворчих засобів у мовній системі. У цьому зв'язку бачиться надзвичайно продуктивною висловлена автором дослідження ідея розмежування понять активності та продуктивності. Під активністю Л. П. Кислюк пропонує розуміти реалізацію словотворчого потенціалу певної моделі чи ресурсів у мовній практиці з погляду їх життєздатності, викликану позамовними чинниками, під продуктивністю – міру й результат активності у словотворі з погляду серійності (регулярності, повторюваності) використання певних словотворчих ресурсів (с. 38–39, 41). Саме за рахунок активних словотворчих ресурсів відбувається оновлення словотвірних категорій сучасної української мови. У такому контексті шляхом виокремлення й зіставлення продуктивних словотвірних моделей різних часових зрізів у синхронії за формантоцентричного підходу до аналізу новотворів дослідниця виокремлює й описує у монографічній праці словотвірні моделі зі стабільною активністю з ураху

ванням впливів аналогії на їх активність на багатому ілюстративному матеріалі (понад 20-ти тисяч мікроконтекстів), що оприявнює результати новітньої української словотвірної номінації. Проте тут варто було хоча б означити ті словотвірні моделі, які виявляють нестабільну активність та виокремити чинники їх нестабільності.

В іншому сегменті праці, застосувавши основоцентричний підхід, Л. П. Кислюк окреслює й аналізує активні ділянки і процеси словотвірної номінації у сучасній мовній практиці. Вивчаючи динаміку синхронного стану мови й словотвірної номінації, дослідниця доходить висновку, що така динаміка є запорукою мовної гнучкості й життєздатності у швидко змінюваному середовищі буття української мови. З метою оприявнення динамічних змін на словотвірному рівні використано методикку моделювання різноструктурних гнізд, тож аналіз кожної нової одиниці та сукупності новотворів здійснено за допомогою методики системного аналізу нових одиниць номінації – визначення функційного потенціалу ресурсу номінації. Тут здійснено вдалу спробу кваліфікації (уточнення статусу) лексичної одиниці як «нової» чи «активізованої» (актуалізованої, поверненої із словникових надбань доби «українського розстріляного Відродження») на прикладі лексеми *держава* як ключового слова новітньої доби, що викликало хвилю похідних новотворів від самого слова та його синонімів у сучасних українськомовних мас-медіа і яке репрезентує образ держави в сучасному українському медіа-просторі. Окремі зауваги стосуються і новотворів з основою *Україн-*, компонентами *політ-*, *комун-*, *євро-* та словотвірних потенцій неосемантизма *майдан*. Український медіа-простір з огляду на тенденції стабілізації інновацій представлено з погляду його розбудови вербалізованим семантичним та тематичним полем найменувань самого медіапростору (інформаційне суспільство, інформаційна індустрія, видання, преса, ефір, телекомунікація, засоби масової інформації та їх атрибути, творчість тощо) з особливою увагою до активності нової іншомовної лексики в українському словотворенні, давніх запозичень, неосемантизмів та механізмів захисту типологічних рис української номінації шляхом гібридного словотворення.

Окрема частина монографічного дослідження присвячена індивідуальній мовній практиці в новітній словотвірній номінації. Авторська словотворчість вивчена й систематизована у текстах художнього стилю, в авторській публіцистиці, у текстах сакрального стилю, в окремих авторитетних українських виданнях з погляду їх впливу на формування сучасного «обличчя» української літературної мови.

Особливо актуальним і цікавим для нас виявився розділ праці, присвячений динаміці словотвірної норми сучасної української мови. Він є спробою рефлексії над співвідношенням словотвірної норми та узусу, над пошуком критеріїв внормування мови та кодифікації нових номінацій у новітніх академічних граматиках, словниках та новій редакції українського правопису. Норма у авторській концепції бачиться як об'єднувачий чинник нації з урахуванням системної та соціальної її природи та функційного підходу до мови (гнучкої її стабільності) з ідеєю множинності норм. Тож автором простежено динаміку словотвірної норми, кодифікованої сучасними лексикографічними виданнями, та узуальної, поданої сьогочасними засобами масової інформації. Її динаміку задає явище конкурування одиниць у сучасній мовній практиці, в основі якого лежить паралельне називання одного об'єкта. Процеси оновлення словотворення розглянуто з урахуванням попередніх етапів його становлення (доби «українізації» («коренізації»), радянського та пострадянського періодів) та перешкод на шляху його розвитку у радянські часи. Залучення матеріалів «повернених» словників, на переконання автора, дозволить розрізнити нові та актуалізовані моделі, заборонені за радянських часів як такі, що «віддаляли» українську мову від російської, й простежити вектори розвитку тенденції до націоналізації (автохтонізації) української мови, до маніфестації її специфічних і типологічних рис у площині словотвору й ширше – номінації. Ця тенденція бачиться автором у двох вимірах: як активізація питомих ресурсів у словотвірній номінації із домінуванням внутрішньомовних чинників та як знеросійщення (відновлення порушеної питомої структури мови) із домінуванням позамовних чинників. Цілком слушною є думка дослідниці про те, що розгляд процесів націоналізації української мови потребує диференційованого підходу до аналізу мовного матеріалу: а) порівняння і вияву динаміки нової лексики на тлі кодифікованої системної норми, що функціонує сьогодні у текстах ЗМІ (норма узусу) та б) порівняння часових зрізів 20–30-х рр., 70-х рр. ХХ століття та 2000-х рр., синхронних станів їх кодифікованої норми із залученням матеріалів новітніх двомовних російсько-українських, орфографічних словників для оприявлення впливу соціально-історичного чинника на словотвірну норму. На нашу думку, подальший синтез отриманих даних дасть змогу окреслити словотвірну норму в усій її тягlostі, у взаємодіях чинників її стабілізації та дестабілізації і надійно простежити її динаміку.

Прикметною рисою сучасної словотвірної норми Л. П. Кислюк вважає різноспрямовану її динаміку. Один її вектор передбачає оновлення словотворчих ресурсів (словотвірних значень, моделей і типів), інший викликає до життя появу та співіснування словотвірних варіантів. Новотвори (нові похідні слова), своє чергою, впливають на динаміку мовної норми і в напрямку її націоналізації, і в напрямку її інтернаціоналізації, виявляючи і там, і там певні особливості та проблемні місця. Йдеться, з одного боку, про блокування узусною нормою невластивих їй словотвірних моделей-кальок з іншомовних (переважно російських) зразків, з іншого – про потребу внормування численних англословних запозичень та розмежування варіантів новотворів з погляду їх семантики й функціонування у різних стильових різновидах мови та сферах її уживання як словотвірних синонімів.

Окремі уваги дослідниці присвячені виявам тенденції націоналізації (етнізації) у площині динаміки сучасної української словотвірної норми. Тут у ряду незаперечних проявів мовної динаміки, зумовленої штучним обмеженням словотвірних потенцій української мови, витісненням vs усуненням із активного вжитку окремих словотвірних моделей та їх типів (с. 313, 303), на нашу думку, неправомірно опиняється словотвірна фемінізація, насильницьке стримування якої у радянські часи потребує надійного підтвердження. У межах проявів звільнення українського словотвору від усього непитомого, нав'язаного й накинутаго їй ідеями та практикою «злиттям націй і мов», Л. П. Кислюк аналізує явище активізації (пасивізації) словотвірних синонімів, аргументує й надійно ілюструє поновлення пріоритетності національних словотвірних моделей, факти блокування словотвірних моделей-кальок, розглядає вплив граматичної і словотвірної норми на формально-семантичну структуру дериватів іншомовного походження, конкурування прикметникових словотвірних моделей у професійному лексиконі та вже згадувану активізацію творення фемінітивів і стильові обмеження їх уживання. Визначаючи творення моцій (парних іменників із значенням жіночого роду) як структурну та типологічну рису української мови, автор вбачає у цьому процесі вплив лише прагматичних чинників (зростання суспільної, професійної та творчої активності жінок, зміни їхньої ролі та ваги в суспільстві) і розглядає його як відповідь мови на суспільні запити, проте систему мовних стримувачів їх творення, на жаль, залишає поза увагою, хоча й згадує про нормативно-стильові їх обмеження. На наш погляд, саме тут є підстави говорити про явище нестабільної активності фемінінного словотворення з огляду фемінізувальний мейнстрім українського сьогодення.

У центрі уваги дослідниці також опиняються вияви протилежної до націоналізації тенденції – інтернаціоналізації (глобалізації) у словотвірній нормі сучасної української мови. У цьому зв'язку розглянуто й прокоментовано факти конкурування запозичених і питомих ресурсів словотворення, проблеми формально-семантичної та функційно-стильової диференціації варіантних номінацій, проблеми відповідності сучасній словотвірній нормі складних слів іншомовного походження. Узагальнюючи, дослідниця визнає, що англomовні словотвірні «конкуренти», з одного боку, забезпечують необхідними позначеннями нові когнітивні й комунікативні запити українського суспільства, з іншого, – викликають у фахівців побоювання деструктивного їх впливу на українське словотворення. Особливу увагу у рецензованому монографічному дослідженні зосереджено й на проблемах неусталеності та тимчасової невпорядкованості правопису сучасних словотвірних інновацій.

Здійснений аналіз сучасної словотвірної номінації з погляду її ресурсів та тенденцій розвитку дозволив Л. П. Кислюк зробити оптимістичний висновок про те, що функціонування сотень і тисяч нових похідних одиниць, утворених за стабільно активними словотвірними моделями у текстах різних функційних стилів, підтверджує життєздатність системи словотвору української мови (с. 354). А здійснений нею аналіз багатого й репрезентативного текстового матеріалу засвідчує, що словотвірна система української мови здатна витримати будь-які виклики, пов'язані із процесами сучасної мовної динаміки, і зберегти свою національну самобутність та забезпечити номінацію нових явищ на потребу суспільства. На загал запропонована дослідницею модель виявляє високий ступінь стійкості словотвірної системи мови на тлі сучасних глобалізаційних викликів, наявність системних і нормативних чинників, які визначають доцільність функціонування тієї чи тієї нової похідної лексеми, а наявність оновлювальних ділянок в системі мови оприявнює її готовність відповідати на мовні потреби сьогодення. Представлений у праці аналіз засвідчує, що сучасна словотвірна номінація відтворює сучасний стан живої мови, підтверджує стабільність її структури, здатність «іти в ногу» з суспільними змінами й зберігати свою національну самобутність. Нове у мові, на переконання Л. П. Кислюк, становить закономірний результат її розвитку й повноцінного функціонування в оновленому українськомовному суспільстві, а отже, випробування, перевірка на життєздатність її системи як «мовного організму», стійкості типологічних її рис є для мови корисними, що засвідчує «вмикання» механізмів захисту її національної самобутності. Загалом здійснений дослідницею

аналіз є надзвичайно цінним, адже він може сприяти прогнозуванню тенденцій змін у номінації засобами словотворення і загалом шляхів подальшого розвитку словникового фонду української мови.

Рецензована праця може стати цікавою не лише фахівцям із українського (ширше – слов'янського) словотвору, а й на загал мовознавцям, літературознавцям, філософам мови, молодим ученим, широкому загалу, оскільки у ній представлений рух у просторі й часі живого українського слова, що відображає, за словами О. Курило, «властиву нації звичку думати».

Алла Архангельська

Ева Кудрявцева Маленова, Мария Ненарокова, Паулина Вуйциковска-Вантух, Джулия Де Флорио. Сказка – вопросы перевода и восприятия. Masaryk University Press, Brno, 2019, 147 с., ISBN 978-80-210-9344-7.

Kolektivní monografie *Сказка – вопросы перевода и восприятия*, která vyšla v letošním roce v nakladatelství Masarykovy univerzity, spojuje čtyři autory (Eva Kudrjavceva Malenová, Maria Nĕnarokova, Paulina Wójcikowska-Wantuch, Giulia De Florio) a čtyři vědecké pohledy na pohádku. Publikace nabízí komparativní, translátologicky orientovaný výzkum, jenž je zaměřen především na zkoumání možností a případných důsledků mezinárodní reflexe pohádky v různých jazykových kontextech – ruském, českém, polském, italském a anglickém. Zaměřuje se zejména na překlady ruských národních a autorských pohádek do vybraných evropských jazyků a na převody *Pinochiových dobrodružství* do ruštiny, polštiny a češtiny. Monografie se snaží poukázat na důležitost překladu jako na klíčový faktor přijetí pohádky v cizím kulturním prostoru, zároveň však upozorňuje na vliv vnĕtextových faktorů, které toto přijetí komplikují. Publikace se skládá ze tří částí – úvodu, ve kterém jsou stanovena východiska, metody a cíle, dále kapitoly věnované národní (folklorní nebo tradiční) pohádce a kapitoly o literární (autorské) pohádce.

Maria Nĕnarokova z Ruské akademie věd se věnuje recepci ruské národní pohádky v anglofonním kontextu a zkoumá anglické překlady z diachronního hlediska – srovnává překladatelské metody od prvních anglických překladů ruských pohádek ve druhé polovině devatenáctého století až po ty současné. Zaměřuje se přitom na porovnání různých překladových variant názvů pohádek, jmen hlavních hrdinů, ruských reálií a stylistických zvláštností ruských národních pohádek. Upozorňuje také na jeden z hlavních problémů při překladu tohoto žánru – a sice na četné varianty jedné pohádkové látky ve výchozí kultuře. Na rozdíl od autorské pohádky, jejíž překlad lze obvykle analyzovat po jednotlivých větách, text národních pohádek překladatelé často všelijak upravují, zkracují a adaptují. Diachronní komparace překladatelských řešení se pak musí omezit na vybrané jevy, které se v různých úpravách vyskytují v překladech všech variant. Autorka v závĕru otevírá aktuální otázku současných úvah o překladu – upozorňuje na složitý proces integrace ruských pohádek do anglojazyčné kultury a uvádí klady a zápory dvou základních překladatelských principů – exotizace a naturalizace či adaptace. Pokud se překladatel rozhodne zachovat ruský kolorit a při překladu jmen, názvů a reálií přistoupí k transliteracím a transkripcím, vydání se obvykle neobejde bez slovních komentářů a bohatého obrazového doprovodu. Autorka zároveň

varuje, že v případě adaptací, které jsou v současné době častější, je sice překlad srozumitelnější, avšak může dojít nejen ke změně smyslu, ale také ke ztrátě spojení s výchozí kulturou. Následující kapitola této autorky věnovaná českým, polským, italským a anglickým pohádkám v Rusku poskytuje chronologický přehled překládaných pohádek do ruštiny v průběhu dvacátého století, shromažďuje informace o vydavatelstvích, která se na vydávání pohádek specializovala, a zkoumá jejich vydavatelskou politiku. Překladatelským postupům se zde autorka věnuje pouze okrajově.

Následující kapitola Pauliny Wójcikowské-Wantuch je věnována srovnání polského překladu dětského románu *Pinocchiova dobrodružství* pořízeného z italského originálu C. Collodiho s polským překladem ruské adaptace této pohádky *Zlatý klíček aneb Buratinova dobrodružství* A. Tolstého a jejich koexistenci v současné polské překladové literatuře. Autorka se také zabývá aktuální pozicí překladové dětské literatury na polském trhu, kvalitou vydání, vlivem reklamy na výběr překládaných titulů a filmových zpracování na jejich popularitu. Paulina Wójcikowska-Wantuch dochází k zajímavému zjištění – přestože ruská adaptace této italské pohádky patří v Polsku (navzdory jejím kvalitám a zdařilému překladu) v dnešní době k pozapomenutým titulům, především kvůli cejchu „sovětské knihy“, polští divadelní režiséři ve svých scénických realizacích *Pinocchia* často volí právě adaptaci Alexeje Tolstého.

Eva Kudrjavceva Malenová v další kapitole doplňuje toto srovnání podrobnou obsahovou komparační analýzou obou děl a následně českou recepcí pohádkového příběhu o dřevěném Buratinovi Alexeje Tolstého. Stejně jako v předchozí kapitole je analýza českého překladu omezena na jména hlavních literárních postav. Autorka přitom pátrá po příčině nynějšího nezájmu českých nakladatelů o toto dílo (kniha naposledy vyšla v roce 1979, pokud nepočítáme zkrácenou a zjednodušenou adaptaci tohoto příběhu z roku 2013 pořízenou pravděpodobně z anglického překladu) a zároveň shrnuje současné nakladatelské tendence při vydávání překladů dětské literatury z ruštiny, přičemž se opírá o svou vlastní monografii z roku 2017.

Kapitola Giulie De Florio zkoumá historický vývoj postavení ruských literárních pohádek v Itálii. Navzdory značnému množství překladů, které byly publikovány v průběhu minulého století, je většina ruských autorů pohádek v Itálii stále neznámá. K nejčastěji vydávaným titulům dosud patří klasické pohádky a povídky A. S. Puškina a L. N. Tolstého.

Předmětem poslední podkapitoly *Сказочная повесть в творчестве Владимира Кантора* jsou analýzy pohádkových románů *Победитель крыс* (1991) a *Чур* (1998). Oba tyto texty byly vytvořeny pro děti spisovatelů a obsahují autobiografické prvky. Autorka kapitoly Paulina Wójcikowska-

-Wantuch se v analýzách zaměřuje především na témata a zápletky těchto děl a zdůrazňuje jejich úzké vazby na tradici evropských a ruských pohádek.

Kolektivní monografie nabízí zajímavý pohled na překlady, publikace a recepci národních a autorských pohádek v různých jazykových mutacích z hlediska historického vývoje. Všimá si přitom celé řady jazykových i vně-jazykových faktorů, které tuto recepci ovlivňují, jako je kvalita překladů, politické vlivy či společenské požadavky. Přínos publikace spatřuji především v propojení různých pohledů na pohádku a její recepci ve vybraných zemích střední Evropy.

Martina Pálušová

Інна Царалунга: *Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові XIV–XV століття*. ФОП Гонта А. С., Хмельницький, 2017, 448 с., ISBN 978-966 -97330-3-0.

Рецензоване монографічне дослідження Інни Царалунги є вдалою спробою на основі текстів писемних пам'яток різних жанрів і стилів виявити і проаналізувати варіативні елементи староукраїнської мови XIV–XV ст. на фонетичному і морфологічному рівнях, встановити і обґрунтувати причини такої варіативності в писемних пам'ятках різних періодів, визначити місце мовного паралелізму у формуванні конкретної літературно – писемної системи на українських та суміжних з ними територіях.

Для досягнення передбаченої мети авторці представленої монографії слід було виконати ряд необхідних завдань. Перш за все дослідниця дала визначення термінам, пов'язаним з варіативним вживанням мовних елементів «варіант», «варіативність», «варіантність». Далі, у результаті наскрізного аналізу доступних писемних пам'яток різних жанрів та стилів староукраїнської мови XIV–XV ст. виявила варіативні мовні елементи фонетичного і морфологічного рівнів на певних часових зрізах. На основі отриманого матеріалу в окремих можливих випадках було виявлено діалектну основу визначених мовних явищ, засвідчених у паралельних фонетичних і морфологічних елементах. Подальшим кроком був здійснений аналіз мовних взаємовпливів як можливих причини варіативності та було визначено вплив інших лінгвосистем на український писемний узус XIV–XV ст. Одним з найцінніших наукових досягнень здійсненого дослідження було встановлено кількісний та якісний показник варіативних явищ у конкретні періоди розвитку староукраїнської літературно – писемної мови на різних територіях та окремі результати було відображено за допомогою картосхем і таблиць. У результаті це дало змогу простежити формування диференційних ознак української мови на фонетичному і морфологічному рівнях за виявленими в досліджуваних пам'ятках рисами, також виокремити функціональні варіанти староукраїнської літературно – писемної мови XIV–XV ст.

Проблема варіативності у староукраїнській літературно – писемній мові, як і в багатьох інших літературно – писемних мовах, полягала в тому, що протягом усієї історії її розвитку в процесі становлення мовних норм вона синтезувала в собі елементи, неоднорідні на всіх структурних рівнях. Така невпорядкованість звукової, граматичної систем

мови реалізувалася у варіативних одиницях на різних етапах її існування. Мова як складна динамічна система зв'язала у собі різночасові частини, давні і нові, питомі і запозичені, поєднала елементи місцевих діалектів. А через тогочасну відсутність букварів, граматик, словників, які б кодифікували мовні норми, відбувалося явище розбалансованості орфографічної та граматичної систем української мови у її розвитку. Таким чином, довільний вибір мовних засобів спричинив виникнення варіантів на всіх рівнях староукраїнської літературно – писемної мови.

Проблеми унормування української мови як системи, за словами авторки, були предметом наукових студій вітчизняних і закордонних дослідників. Зокрема в українському мовознавстві мовних варіантів та паралелей розглянуті у працях А. Кримського, І. Огієнка, П. Бузька, В. Ярошенка, І. Панькевича, Л. Гумецької, І. Керницького, О. Купчинського, Л. Булаховського, В. Німчука, П. Гриценка, М. Лесюка, В. Мойсієнка та ін. Але цілісного й системного аналізу варіативності староукраїнської літературно – писемної мови XIV–XVII ст. ще не було здійснено.

Староукраїнську літературну мову цього періоду використовували для потреб релігії, освіти, науки, нею писали ділові документи, церковно – публіцистичні твори. Це була мова, якою активно користувалися у Великому князівстві Литовському (у його складі протягом XIV–XVI ст. перебувала більшість українських земель), а також вживалася у Молдавській державі, створеній у XIV ст. Значна кількість тогочасних українських пам'яток характеризується найрізноманітнішими впливами як окремих мовних стихій (білоруської, польської), так і літературно – писемних мов (церковнослов'янської та ін.). Староукраїнська літературна мова набула широкого застосування в рукописному та друкованому виявах, у писемній та усній формах. У процесі розвитку жанрів та мовних стилів, у літературній мові збільшувалася кількість можливостей вибору альтернативних мовних елементів на різних рівнях її структури. А це призвело до розвитку варіативності мови загалом.

Джерельною базою для дослідження стали рукописні й друковані пам'ятки конфесійного та офіційно – ділового стилів староукраїнської мови XIV–XV ст., що репрезентують північний і південно – західний ареали українського мовного простору. До мовознавчого аналізу залучено матеріали опублікованих історичних словників: Словник староукраїнської мови XIV–XV ст., Словника української мови XVI – першої половини XVII ст., а також діалектні, етимологічні словники. Для зіставлення свідчень писемних пам'яток і фактів сучасної лінгвогеографії використано Атлас української мови. Частина матеріалу введена

в науковий обіг уперше, а саме: рукописні справи з Виживської, Житомирської, Луцької актових книг XVI–XVII ст.

Для вивчення варіативності староукраїнської мови XIV–XV ст. авторкою монографії було застосовано різні методи дослідження, а саме, під час збирання матеріалу метод формального аналізу. На основі цього методу мовні елементи різних рівнів згруповані за мовними ознаками. Для визначення варіативності давніх звуків, паралельних словоформ застосовано зіставний метод. Процес виникнення варіантів української літературної мови з'ясовано за допомогою порівняльно – історичного методу. Далі також використано лінгвогеографічний метод під час вивчення територіального поширення мовних явищ. А динаміку варіативності фонетичних, морфологічних елементів проаналізовано за допомогою картографічного та статистичного методів.

В основу гіпотези дослідження авторка покладає припущення, що українська літературна мова в певні часові відрізки впродовж XIV–XV ст. була неоднорідною на всіх структурних рівнях. Це відобразилося в писемних пам'ятках того часу з різних регіонів України. Староукраїнська літературно – писемна мова значною мірою формувалася на народній основі, що підтверджується численними діалектними явищами в її структурі. Давні мовні елементи, успадковані з попередніх періодів розвитку, функціонували поряд з новішими, часто запозиченими з інших лінгвосистем утвореннями. Наявність сукупності певних мовних рис у пам'ятках північного та південно – західного ареалів, на думку авторки монографії, можливо відображають формування північно – українського та південно – західного варіантів староукраїнської мови. Крім того, як вважає дослідниця, можна допустити, що у XIV–XV ст. уже виділявся і третій варіант – закарпатський. Доказом цього припущення можна вважати наявність такої пам'ятки, як «Нягівська постила»(XIV ст.). Але, на жаль, простудійовані авторкою монографії конфесійні пам'ятки XIV–XV ст. не дають підстав для твердження про існування цього третього варіанта староукраїнської літературно – писемної мови.

Монографія складається з трьох загальних розділів, численних підрозділів, передмови та висновків, багатокількісного списку використаної літератури та додатків із картосхемами поширення мовних явищ і таблицями різновидів мовних явищ. У першому розділі подано теоретико – методологічні засади дослідження варіативності мови в синхронії та діахронії, де зокрема йдеться про виклад терміну варіативності у контексті українських та закордонних лінгвістичних студій, також наведено приклади варіативності з різних пам'яток староукраїнської мови XIV–XV ст. Особливу увагу приділено джерелам офіційно – ділового та

конфесійного стилів та принципу їх підбору для дослідження. Другий розділ монографії присвячено варіантності староукраїнської мови XIV–XV ст., де представлено велику кількість прикладів варіативного вживання звуків, а саме у/в, твердість/м'якість приголосних звуків, ствердіння р, л, шиплячих та ц, асиміляція/дисиміляція приголосних звуків та ін. У третьому розділі монографії авторка проаналізувала варіативні явища староукраїнської мови XIV–XV ст. на морфологічному рівні. Серед численних прикладів слід відзначити такі: варіативність іменникових форм та інших іменних частин мови, дієслівних форм в офіційно – діловому та конфесійному стилях.

У висновках до монографії авторка передусім підкреслює, що у варіативних мовних елементах рукописів та першодруків XIV–XV ст. відображені фонетичні риси, що стали типовими для сучасної української літературної мови (надається перелік цих рис). А щодо здійсненого аналізу варіативних морфологічних елементів, виявлених в українському письменстві XIV–XV ст., авторка вважає, що це дозволило простежити процес оформлення граматичної системи української мови, у якому чимале місце посідали традиційні мовні елементи, успадковані від попередніх століть (подано їх перелік).

Результати дослідження відкривають нові підходи до територіального членування староукраїнської мови (північноукраїнського, південно – західноукраїнського) XIV–XV ст., які можуть бути використані для написання праць з історії української мови, історичної граматики та діалектології, а також для типологічних досліджень з порівняльної граматики слов'янських мов.

Uljana Cholodová

V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (od r. 2008 tvoří původní stati 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. V r. 2008 byla ustavena redakční rada a všechny příspěvky důsledně procházejí nezávislým, anonymním recenzním řízením.

Jsou přijímány pouze příspěvky, které nebyly dosud publikovány a nejsou přijaty k publikaci v jiném časopise, v tomto smyslu se podepisuje s autorem příspěvku přijatého k publikaci licenční smlouva vypracovaná právním oddělením UP v Olomouci. Poskytnuté příspěvky musí respektovat níže uvedené formální pokyny. V případě jejich nedodržení se příspěvky vrací autorům k úpravám a doplněním.

Všechny příspěvky procházejí nezávislým, objektivním, anonymním recenzním řízením (dva nezávislí posuzovatelé, z nichž ani jeden není členem redakce či pracovníkem stejného pracoviště jako autor či spoluautor).

Příspěvky je možno zasílat během celého roku. Uzávěrka je vždy k poslednímu dni měsíce ledna a června příslušného roku.

Pokyny pro autory

Texty příspěvků zasílejte na e-mail:

jindriska.kapitanova@upol.cz (studia linguistica),

jitka.komendova@upol.cz (studia litteraria).

Soubor v elektronické podobě musí být uložen pod příjmením autora (bez diakritiky, latinkou) s koncovkou .doc nebo docx (např. novak.docx, vychodil.doc).

Struktura a úprava příspěvku

Jméno autora bez titulů v pořadí: jméno, (jméno po otci), příjmení.

Stát a město, v němž autor příspěvku působí.

Název příspěvku.

Abstrakt v angličtině v rozsahu min. 500 až 700 znaků s mezerami včetně

názvu stati v angličtině. Uvádí se za slovem Abstract.

Klíčová slova v angličtině: 10–15 slov, oddělují se pomlčkami. Uvádí se za slovy Key Words.

Text příspěvku: základní text font Times New Roman, vel. 12 pt, řádkování 1,5, zarovnání vlevo, okraje 2,5 (nahore, dole, vlevo i vpravo). Neformátovat – formátování se v převodu do sázecího editoru ruší. Entrem oddělovat pouze odstavce, odstavce neodrážet ani neoddělovat mezerami. Nestránkovat. Mezititulky neoddělovat mezerami. Je nutno povolit funkci „dělení slov“.

Celý text a všechny další součásti se píše fontem Times New Roman, vel. 12 pt. Doporučený minimální rozsah 27 000 znaků včetně mezer (včetně jména, názvu, abstraktu, klíčových slov, vlastního textu, poznámek, seznamu použité a excerpované literatury). Klíčová slova v textu (bez uvozovek) a příklady (bez uvozovek) se uvádějí kurzívou. Pro zvýraznění používejte tučné písmo. Podtrhávání není přípustné. Obsáhlejší ukázky z krásné literatury nebo lingvistické příklady uvádějte dle následujícího vzoru:

Но в человеке еще живет маленький зритель – он не участвует ни в поступках, ни в страдании – он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба – это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. [...] Он существовал как бы мертвым братом человека [...] Это евнух души человека «Чевенгур» [Платонов 1988: 114-115].

Гнучкий розум, приховані лідерські задатки та непохитна цілеспрямованість перетворили сором'язливого, на перший погляд, класичного «ботана» з Сієтла на «акулу» світового бізнесу та справжнього комп'ютерного генія. [24tv 06.11.2015]

Слідом за **ділком у рясі** був виведений на чисту воду й другий «збирач жертвувань» – демохристиянин Джіно Арджентіно, що зробив тоді, як був міським радником, аналогічну «операцію». [Молодь України 1981, №194]

Citace se uvádějí uvozovkami specifickými pro každý jazyk. Odkazy na citovanou či použitou literaturu se uvádějí v hranatých závorkách s uvedením příjmení autora, roku a čísla strany: [Novák 1997: 65]. Poznámky pod čarou používejte pouze pro doplňující informace, nikoli jako odkaz na literaturu.

Příklady uvádění jednotlivých titulů (základní formy) v seznamu literatury:

Kniha, monografie, učebnice:

CRYSTAL, D. (2001): *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge University Press.

Článek v časopise:

GREGOR, J. (2006): Verbonominální spojení MÍT + abstraktum a jejich ekvivalenty v ruštině (z hlediska lingvodidaktického). *Opera Slavica* XVI, 2006, č. 4, s. 11–26.

Příspěvek ve sborníku:

JANČÁK, P. (1989): Mluva v severozápadočeském pohraničí. In: F. Daneš – J. Bachmannová – S. Čmejrková – M. Krčmová (eds.): *Český jazyk na přelomu tisíciletí*. Praha: Academia, s. 239–249.

Elektronické zdroje:

КОЛЯДА, Н. (2010): *Старосветские помецики* (6. 9. 2010), kolyada.ur.ru/starosvet.

Informace o autorovi:

Jméno včetně titulů.

Stručný vědecký profil.

Adresa pracoviště.

Internetová stránka pracoviště.

E-mail autora.

Autoři odpovídají za jazykovou a gramatickou správnost textu. Příspěvky v rozporu s uvedenými pravidly, neschválené recenzním řízením či neodpovídající zásadám etiky nebudou publikovány.

Требования к оформлению статей

Общие требования

Для публикации в журнале принимаются статьи филологического, т.е. языковедческого, фразеологического, литературоведческого, переводческого содержания на всех славянских языках и английском языке, рецензии, информация о научных конференциях. Материалы публикуются бесплатно.

Принимаются только материалы, которые до сих пор не были опубликованы в другом журнале – в этом смысле с авторами статей заключается и подписывается соглашение о предоставлении редакции права публиковать данные материалы.

Предоставленные в редакцию статьи должны отвечать указанным ниже требованиям. В случае несоответствия материалов требованиям последние возвращаются авторам для переработки.

Все статьи подвергаются независимому, объективному, анонимному рецензированию.

Материалы в редакцию можно предоставлять в течение всего года. Первый номер выходит обычно в первой половине года, второй к концу того же года.

Авторы статей, рецензий, информации о конференциях, хроник несут персональную ответственность за языковую и грамматическую точность текста. Отклоненные рецензентами тексты к публикации не допускаются.

Тексты для публикации высылать по эл. почте: jindriska.kapitanova@upol.cz (studia linguistica), jitka.komendova@upol.cz (studia litteraria).

Требования к оформлению статей, материалов

Файл должен быть назван по фамилии автора только латинскими буквами с расширением doc. или docx. (например, *novak.doc* или *novak.docx*).

Структура статьи

Имя, (отчество) и фамилия автора

Название страны и города

Название статьи на языке статьи

Резюме на английском языке, включая переведенное на английский язык название статьи. Резюме приводится после слова Abstract. Объем резюме ок. 500–700 знаков.

Ключевые слова (10–15 слов под рубрикой Key Words).

Основной текст статьи печатается 12 кеглем в Times New Roman, межстрочный интервал 1,5. Все поля – 2,5 мм. Абзац обозначать только с помощью клавиши Enter, переносов не делать, страницы не нумеровать. Необходимо включить функцию «расстановка переносов».

Редактор: Word for Windows.

Рекомендуемый минимальный объем текста 27 000 знаков (включая интервалы, текст, резюме и список использованной литературы).

Ключевые слова и слова-примеры, предложения-примеры выделять курсивом, в случае необходимости – жирным. Большие по объему цитаты из художественной литературы или лингвистические примеры оформляйте по следующему образцу:

Но в человеке еще живет маленький зритель – он не участвует ни в поступках, ни в страдании – он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба – это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. [...] Он существовал как бы мертвым братом человека [...] Это евнух души человека «Чевенгур» [Платонов 1988: 114-115].

Гнучкий розум, приховані лідерські задатки та непохитна цілеспрямованість перетворили сором'язливого, на перший погляд, класичного «ботана» з Сіетла на «акулу» світового бізнесу та справжнього комп'ютерного генія. [24tv 06.11.2015]

Слідом за **ділком у рясі** був виведений на чисту воду й другий «збирач жертвувань» – демохристиянин Джіно Арджентіно, що зробив тоді, як був міським радником, аналогічну «операцію». [Молодь України 1981, №194]

Цитаты выделяют кавычками, не используя курсив (образец: «Цитата», „Citace“, “Citation”).

Ссылки в тексте оформляются квадратными скобками, где приводится фамилия автора, год издания и страница по образцу: [Бархударов 1975: 190–213].

Сноски просьба использовать только для примечаний, ссылки на использованную литературу оформлять так, как указано выше.

Подчеркивания не допускаются.

Список использованной литературы приводится в конце статьи под рубрикой *Использованная литература*.

Книга:

CRYSTAL, D. (2001): *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge University Press.

Статья в журнале:

GREGOR, J. (2006): Verbonominální spojení MÍT + abstraktum a jejich ekvivalenty v ruštině (z hlediska lingvodidaktického). *Opera Slavica XVI*, 2006, č. 4, s. 11–26.

Статья в сборнике:

JANČÁK, P. (1989): Mluva v severozápadočeském pohraničí. In: F. Daneš – J. Bachmannová – S. Čmejrková – M. Krčmová (eds.): *Český jazyk na přelomu tisíciletí*. Praha: Academia, s. 239–249.

Электронные источники:

КОЛЯДА, Н. (2010): Старосветские помещики (6. 9. 2010), kolyada.ur.ru/starosvet.

Профиль автора:

Ф.И.О., включая ученую степень, звание

Краткое представление научных интересов автора

Полный адрес университета (места работы)

Веб-сайт организации

Электронная почта автора

ISSN 0139-9268 (print)
ISSN 1804-1434 (online)